

Леонид
ЗОРИН



ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

Русская проза

Русская проза (Вече)

Леонид Зорин

Покровские ворота (сборник)

«ВЕЧЕ»

2017

Зорин Л. Г.

Покровские ворота (сборник) / Л. Г. Зорин — «ВЕЧЕ»,
2017 — (Русская проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7519-1

В книге замечательного советского и российского драматурга, сценариста, прозаика Леонида Генриховича Зорина (1924 г.р.) собраны произведения, объединенные фигурой Костика Ромина, хорошо знакомого аудитории по знаменитому телефильму «Покровские ворота» (снят в 1982 году, режиссер Михаил Козаков, в главных ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова) и одноименной пьесе. Три повести и роман «Старая рукопись» охватывают период 1950–1970-х годов и посвящены юности и мужанию героя.

ISBN 978-5-4484-7519-1

© Зорин Л. Г., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

История Костика Ромина	6
Прощальный марш	7
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Леонид Зорин

Покровские ворота

© Зорин Л.Г., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

История Костика Ромина *(Вместо предисловия)*

И события и сюжеты, переживания и размышления, которые пройдут перед вами, берут начало от одного человека, чтобы потом к нему вновь вернуться – тот случай, когда ручьи и реки возвращаются к своему истоку.

Я прожил с ним несколько десятилетий, уже и не знаю, где он и где я – те годы, когда неслась его юность, мы были, в сущности, одним целым, – жизнь Костика Ромина была вместе с тем жизнью и его летописца. «Прощальный марш», «Избирательная кампания», наконец, «Хохловский переулок» – последний, надо сознаться, в особенности – в полном смысле слова автобиографичны. «Хохловский переулок» – как увидит читатель – стал основой пьесы и киноповести, известных под названием «Покровские ворота». Пьеса шла долгих десять сезонов, а фильм по сей день появляется на телевизионном экране.

Прощальный марш

Повесть

Впоследствии то лето он назвал судьбоносным. Для краткости, говорил Константин. Точнее было бы его назвать летом исторического решения. Но слишком длинно, язык устанет, чем короче, тем выразительней.

Историческое решение заключалось в том, что он надумал перебраться в Москву и там учиться в аспирантуре. Зачем ему понадобилось то и другое, он толком и сам не мог объяснить. Для научной деятельности он едва ли годился – неусидчив, взрывчат, нет основательности. Его трудоустройство – тому свидетельство. Где вынырнул бывший студент-историк? В архивах? В экспедиции? В школе? Ничуть не бывало. Он ухватился за свободную вакансию в местной газете, в отделе писем. Смех, да и только. Теперь скажите, при чем тут наука?

И зачем потребовался переезд? Недовольство средой? Ничего похожего. Повседневная жизнь была не в тягость. Всего год, как он одолел факультет, и эйфорическое состояние от перехода в новое качество все еще сладко кружило голову. Самостоятельный человек, называющий себя журналистом, – об этом можно только мечтать. А город был южный, пестрый, приморский – и из него уезжать на север? Все было странно, как-то невнятно. Люди срываются с насиженных мест оттого, что им худо, а он уезжал оттого, что ему было хорошо.

Но именно так обстояло дело. Вся суть была в беспокойном возрасте. Возраст не давал передышки. Страшно было *определиться*. Тем более соблазн велик. Ничего нет приятней, чем плыть по течению, особенно когда течение теплое, небо лазорево, ветерок бархатист. Шагнуть за порог двадцатилетия и тут же остановить движение. Нет, невозможно. И вот явилась идея московской аспирантуры. Столица. Шершавый спасательный круг для тех, кто захлебывается в кисельном море. Прояви волю, молодой человек, и покажи, чего ты стоишь. Но предварительно надо съездить, разведать обстановку на месте. Решимость не исключает разумности, прыжок в неизвестное требует подготовки.

Война закончилась восемь лет назад, жизнь, казалось, вошла в берега, однако добыть билет на поезд все еще непростое дело. Костик долго томился в очереди, благо хватало о чем поразмыслить. Удастся ли эта рекогносцировка? За три дня нужно столько сделать! Все узнать, все понять, сдать документы. Времени в обрез, но и оно – подарок от щедрот ответственного секретаря. Через неделю нужно вернуться.

Тут он услышал радостный хохот, поднял голову и увидел Маркушу Рыбина. Оказалось, они стояли рядом и оба друг друга не углядели.

Маркуша смеялся, однако из этого не следовало, что ему смешно. Костик знал за ним эту манеру, к которой так и не смог привыкнуть. О чем бы Маркуша ни говорил – действительно о чем-то забавном или, наоборот, о грустном, достойном всякого сожаления, – речь свою сопровождал он смехом. Он был пианистом-аккомпаниатором, что и дало кому-то повод назвать этот смех аккомпанементом. Контакт ли налаживал он таким образом, давал ли понять по своей деликатности, что не хочет обременять собеседника чрезмерной серьезностью, – трудно сказать.

И здоровался он тоже по-своему: хватал вашу руку своей десницей, шуйцу вздымал на уровень уха и тут же с лету ее опускал, наглухо накрывая пленницу. По первому разу люди пугались. Потом понимали, что именно так он выражал и расположение и полную открытость души.

Все, и Костик в том числе, привычно звали его Маркушей, меж тем он был не так уж юн. Старше Костика лет на двадцать, к тому же заметный человек, вовсе не рядовой концерт-мейстер. Аккомпанировал он гастролерам, знаменитым певцам или скрипачам. На афишах,

развешанных на стенах и тумбах, под прославленным именем неизменно стояло напечатанное достаточно крупно его имя: «У рояля Марк Рыбин». И казалось, что эти красные буквы и имя, на сей раз не уменьшительное, относятся к кому-то другому.

На эстраде Маркуша преображался. В нем появлялась какая-то истовость. В черном костюме, с черной бабочкой на белоснежной, словно эмалью покрытой, сорочке, в черных лаковых, приятно поскрипывающих туфлях, смертельно бледный, с отсутствующим взглядом, он шел к распахнутому роялю, с крышкой, поднятой не то в знак приветствия, не то в знак капитуляции перед его решимостью.

Он опустился на стул, откидывал голову, безумными глазами взглядывал на концертанта, потом вонзал в покорные клавиши длинные костяные пальцы. Гость вступал, и Маркуша всем своим видом являл стремление раствориться в солисте. Звездный же миг возникал в том случае, если в его партии был предусмотрен отыгрыш. Он буквально обрушивался на бедный «Бехштейн», точно желая его расплющить, мотал головой, как невзнузданный конь, гремел, распластывался всем туловищем и в конце концов, выпотрошенный, опустошенный, откидывался на спинку стула. Каждому в зале было понятно, что Маркуша отдал все, что имел, ничего себе не оставил. Он не столько сидел, сколько полулежал с бессильно повисшими руками, похожими на иссохшие ветви. И когда гастролер его поднимал, чтоб разделить с ним аплодисменты, он стоял отрешенный, закрыв глаза, призраком, освещенный софитами.

Однажды в присутствии Константина одна музыкальная дама сказала: это ваш концерт, вы, Маркуша, художник. Маркуша радостно захохотал, замахал руками: да что вы, бог с вами, кто я такой, мелкая сошка, есть о ком говорить, не конфузьте меня.

Костик, впрочем, был не уверен, что он и впрямь о себе такого мнения. Лет семнадцать назад, в предвоенную пору в Москву на декаду национального творчества были посланы мастера искусств. Маркуша отправился вместе с ними, аккомпанировал в Большом театре, оказался даже среди награжденных.

– В столицу, Костя? – спросил он, смеясь.

– И вы в нее? – отозвался Костик.

– Анечка, – объяснил Маркуша. – Занедужила тетка, такой вот казус.

Он все еще продолжал похихатывать, и Костик невольно пожал плечами, оживление было не слишком уместным.

– Вы надолго? – поинтересовался Маркуша.

– Денька на три.

– И Анечка – тоже.

Анечка танцевала в театре, она была одною из многих, выпархивала среди лебедей, поселения или пленниц гарема. Было ясно, что этим и завершится ее карьера, ей было за тридцать пять. Ее это, правда, не удручало, она была женщиной без претензий. Скромная, ласковая, приветливая, ни дать ни взять – пушистая кошечка, которую так и тянуло погладить. Костик был с нею знаком, еще недавно ходил на балеты и вместе с приятелями после спектакля томился у служебного входа.

Танцовщицы выходили стайкой, усталые, чем-то всегда озабоченные, непохожие на самих себя, только что скользивших по сцене. Никогда нельзя было предугадать, каким будет настроение твоей избранницы, девушки знали себе цену, были надменны и капризны, похоже, что такие повадки входили в условия игры. Анечка от них отличалась – и возрастом, и своею мягкостью. Всегда одна или с подругой, всегда торопящаяся домой.

Ухаживать за балеринами было поветрием, тешившим самолюбие. Еще было принято посещать стадион «Динамо» и Дом офицеров. В последнем командовал полковник Цветков, подтянутый сухопарый мужчина с крепким выдубленным подбородком, с обветренным красноватым лицом, прямой, негнувшийся, немногословный. Он был умелым администратором, и

Дом офицеров был популярен. Бал, концерт или вечер поэтов – не протиснешься, столько людей.

В особенности – молодых людей. Идут косяком – возбужденные лица, отрывистая, беспокойная речь. Черные брюки, белые рубашки, рукава, закатанные до локтей. Воздух сгущен и намагничен, южный город всегда в ожидании взрывов, либо созревших, либо придуманных. Достаточно неосторожного взгляда, неловкого слова – и чиркнувшей спичкой уже подожжен бикфордов шнур.

Но полковник Цветков шутить не любил. В Доме был образцовый порядок, самые бешеные характеры смиряться, переступив порог. То в длинном фойе, то в ложе у сцены, то в курительной, то в бильярдной возникала негнушащаяся фигура с орденой планочкой на груди.

Многих из молодых он знал. Завсегдатаи с ним здоровались. В ответ он лишь молча наклонял аккуратно подстриженную голову. И, как всегда, отливало медью неулыбчивое лицо.

Его способности были замечены, а сам он переведен в Москву. И сразу же что-то переменялось. Дом поблек, словно был человеком. Казалось, что нерв перестал пульсировать и из натянутой тетивы вдруг превратился в безвольную нитку. Настало время иных очагов.

...К кассе они подошли почти вместе, и Маркуша постарался, чтобы места Анечки и Костика оказались рядом, Анечке будет и веселее и спокойнее со своим человеком. Костик заверил, что будет стараться – в дороге послужит верой и правдой, в Москве доставит Анечку к тетке. Маркушу подобное обещание, по-видимому, привело в восторг. Сжав руку любезного собеседника, он благодарно ее прихлопнул.

– Экспонат... – вздохнул молодой человек. И, уже шагая по пыльной улице, все еще улыбался и качал головой.

Этим хлестким определением он вовсе не выделил Маркушу из общего ряда. И тем более не думал как-то его принизить... Экспонатами были решительно все. Редактор, экспрессивный мужчина, чей темперамент был приторможен павшей ему на плечи ответственностью. Секретарь редакции, старый газетчик, всех задергавший своей суетливостью. Курьер Анатолий, безобидный дурень, всегда путавшийся при разноске конвертов. Все знакомые и малознакомые, даже случайные прохожие. Сослуживцы, приятели и приятельницы. Родители. Здесь еще возникала большая проблема отцов и детей, но он не любил в нее углубляться.

Мир – музей восковых фигур, выставленных на обозрение. Он может быть отличным подарком, пока не относишься к нему драматически. Те, кто забывает об этом, превращаются в невыносимых зануд. То была затянувшаяся игра, тем более доступная, что сам Костик находился в благоприятной поре, в эпохе собственной предыстории. Понял он это спустя много лет. Не так уж трудно заключить с жизнью джентльменское соглашение, если она еще не началась. Еще живешь в родительском доме, еще работа тебе в новинку, самому – двадцать лет с поросычьим хвостиком.

Был, однако же, человек, который составлял исключение. Не экспонат, а образец, фигура по-своему примечательная.

Яков Славин был вдвое старше Костика, да к тому же еще – москвич, собственный корреспондент известной газеты. Уже это одно само по себе определяло его положение. Неторопливый, немногословный, с грустными оленьими глазами, не изменявшими своего выражения даже тогда, когда он пошучивал. То был юмор высокой марки, купанный в разнообразных щелоках, пропущенный сквозь огонь и лед и тем не менее устоявший.

Что для Костика такое товарищество с человеком зрелым, известным в городе, с недавним военным корреспондентом, наконец, с настоящим профессионалом, было почти невероятной удачей, редким по щедрости даром судьбы, возвышавшим его в собственном мнении, это понятно и очевидно. Удивительно было то, что Славин находил удовольствие в его обществе. Скорее всего, с его стороны тут было и отцовское чувство, и память о прошлом, и подсознательная потребность вновь прикоснуться к ушедшему возрасту – вполне вероятно, что

это общение в известном смысле его молодило. Возможно, он находил в подопечном и некоторые достоинства, по крайней мере – в эмбриональном состоянии. Ту игру, которую его юный приятель вел с окружающими и самим собой, Славин, разумеется, видел, но, похоже, она его развлекала. Пожалуй, чем-то даже и нравилась.

* * *

И сама работа в отделе писем давала возможность для игры. Правда, большая часть посланий не оставляла для нее простора. Как правило, они заключали жалобы, причем вполне определенные – факты, фамилии, дрянная обслуга, очень часто квартирные неурядицы и негодная организация труда. На одни письма Костик отвечал сам, другие передавал в соответствующие отделы, то, что было ему по силам, улаживал или пытался уладить. Эта деятельность казалась однообразной, но она оседала не только в архиве, многое задерживалось и в душе и в памяти. Костик со временем стал называть ее «своей историей малых дел». Так он камуфлировал удовлетворение, которое испытывал в тех случаях, когда газета приходила на помощь. Отказаться от шутки значило отказаться от игры, что было бы свыше сил. Много позже он понял, что все эти драмы, действительные или преувеличенные, не совпадали с его настроением, с общим расположением духа. В конце концов всякие столкновения с повседневностью входят в жизнь, а жаловаться на жизнь грешно. Когда она еще не утомила, не издергала, такие жалобы выглядят странно. В основе их безусловно лежат очевидные недоразумения, их, в сущности, легко разрешить – побольше юмора и добродушия!

Непосредственный шеф, заведующий отделом с нестандартной фамилией Духовитов, то и дело корил его за легкомыслие. Но дебютирующий газетчик культивировал в себе это свойство – ведь именно оно украшает образ победоносной юности. А выговоры и замечания тоже были частью игры, которую, как ему представлялось, вели, в свою очередь, окружающие, ибо Костик был убежден, что пользуется их симпатиями.

В сущности, так оно, в общем, и было. Молодой человек привлекал внимание. И не только из-за своей улыбки, власть которой он склонен был переоценивать, а прежде всего – это было самым занятным – из-за своих ответов на письма.

Дело в том, что кроме обычных адресантов, писавших в газету по необходимости, были корреспонденты особого рода, так сказать, фанатики переписки. Они также не были однородны – были оригиналы и чудаки, были натуры неуравновешенные, были и клязники по призванию.

Вот тут появлялась возможность игры, превращение тяжелых обязанностей в подобие некоего развлечения. Костик выработал свой стиль, стиль изысканной, архаической вежливости, гиперболической, древневосточной, переходящей в прямую лесть.

Когда Духовитов познакомился с творчеством своего сотрудника, он испытал состояние шока. Но, к его удивлению, все были довольны. Авторам писем, как людям серьезным, и в голову не могло бы прийти, что кто-то осмелился с ними пошучивать. И когда они получали вместо обычных дежурных отписок цветистые уверения в понимании, да еще с признанием их заслуг, их ледяные сердца оттаивали, и тон последующих обращений становился более примирительным. Духовитов, а там и секретариат, признали с некоторой обескураженностью, что новичок – полезный работник, реально облегчающий жизнь.

От кого только не приходили письма! Кто только не писал в редакцию! Писали люди самых разных профессий, разных возрастов и темпераментов. Объединяла их всех непризнанность. Почему-то не вызывали отклика самые дерзкие прожекты, которые должны были спасти человечество или хотя бы его осчастливить. Писали авторы всяческих панацей, открыватели новых видов энергии и более скромные в своих задачах создатели противопожарных устройств и замков, которые лишали грабителей каких бы то ни было надежд. Писал вдох-

новенный экономист, всякий раз предлагавший инфраструктуру, сулившую небывалый расцвет. Писал Василий Козьмич Николаевский, полный невероятных планов, которые при своем воплощении заставили бы навеки умолкнуть идеологического противника; писал педагог, уложивший десятилетний курс обучения примерно в три с половиной года (громкая экономия сил и средств!), но, разумеется, больше всего писали индивиды критической складки. Эти последние отличались гранитной верой в свой разум и вкус и тотальным презрением к авторитетам. Для них не было ни Толстого, ни Баха, ни Микеланджело Буонаротти. Что же касается современников, те вовсе не принимались в расчет.

Сначала Костик отвечал каждому особым посланием, демонстрируя незаурядное «чувство адресата». Но впоследствии пыл его поубавился, и он рационализировал свои усилия, придав эпистолярной деятельности поточно-индустриальный характер. Был создан стабильный образец, который слегка индивидуализировался в зависимости от личности корреспондента и содержания его письма. Выглядел он примерно так:

«Глубокоуважаемый имярек! Мы с волнением ознакомились с интереснейшими соображениями, которые сразу же обнаруживают Ваш нерядовой интеллект. Ваши предложения (о борьбе с канцером, уремией, отставанием литературы, астрономии, фармакологии, о реорганизации международных связей, всесоюзного радио, издательского дела, об обязательных посещениях театров, обязательных занятиях прыжками с шестом, о закрытии стадионов, как мест, отвлекающих от непосредственной деятельности, а также о замене театров самодеятельными коллективами) показывают Вас как масштабного, государственно мыслящего человека, предлагающего смелые решения насущных проблем. Глубина и объем Ваших познаний и проникновение в суть вопроса таковы, что было бы самонадеянностью дать им исчерпывающую оценку. Со всею объективностью, хотя и с сожалением, должны сознаться, что возможности редакции (интеллектуальные и организационные), как бы то ни было, не беспредельны. И Вы и мы понимаем, что лишь специалисты самого высшего класса и уровня смогут хотя бы в какой-то мере соответствовать размаху Ваших идей».

Такие ответы обеспечивали редакции весьма значительную передышку, как бы указывая истоку русло, по которому он устремлялся в Великий и Тихий океан.

Бывали, разумеется, и исключения. Частенько Василий Козьмич Николаевский являлся в редакцию для личных бесед. Длинновязый седоволосый мужчина с впалыми щеками и резкими складками на озабоченном челе. В руках он держал зеленую шляпу, которую прижимал к груди.

– Вот, уважаемый Константин Сергеевич, – говорил он глуховатым голосом, аккуратно покашливая, – хотел бы провентилировать с вами одну идею, прежде чем ее обнародовать. Небезлюбопытную, как мне кажется.

– Слушаю вас, Василий Козьмич, – отзывался Костик с неизменной готовностью.

– Оппоненты наши, – продолжал Николаевский с улыбкой, исполненной лукавства, освещавшей его бескровные губы, – похваляются идейной всеядностью...

– Да, на это они мастера, – охотно соглашался Костик.

– Так вот. Пусть тогда они примут группу самых квалифицированных наших товарищей, которые будут ездить с лекциями по их градам и весям. Каково? Понимаете, если они откажутся, то сами себя разоблачат. Недурно? Я сам готов поехать.

– Замечательно, – подтверждал Костик. – Но есть тут, знаете, одна заковыка.

– Какая? – вскидывался Николаевский.

– Они ведь будут того же требовать.

– Полагаете? – хмурился собеседник.

– Несомненно, – задумчиво говорил Костик. – А таких лазеек мы им не дадим.

– Черт их дерит! – вздыхал Николаевский и медленно надевал шляпу.

– Вы продумайте этот момент, – советовал молодой человек.

– Ловко это у вас получается, – качал головой сотрудник отдела литературы и искусства Малинич. – Откуда только терпенье берется? Впрочем, тут еще договориться можно. Это вам не мои графоманы.

– Зато вы работаете в отделе муз, – утешительно замечал Костик.

Малинич только фыркал в ответ. Это был мрачный холостяк, когда-то писавший сам и печатавшийся, но затем поставивший на себе крест. Поставил он его надрывно, шумно, с вызовом городу и миру. Город и мир его растоптали и должны были нести за это ответственность.

– Попробуйте двадцать лет читать черт-те что, – сообщал он обычно, – и вы не сможете понять, что хорошо, а что плохо. Ничто не стирается с такой быстротой, как различие между добром и злом. А то, что вы сами в короткий срок оказываетесь неспособны к творчеству, об этом излишне и говорить.

Он не только вздыхал о своей судьбе, задавал он и риторические вопросы.

– Можете вы мне объяснить, – произносил он со страдальческим всхлипом, – почему я должен втолковывать невежде, что почтенный и достойный писатель заслуживает его снисхождения? От одного этого можно рехнуться. Другой обвиняет всех в плагиате. Самые наши известные авторы, оказывается, списывают у него его вирши. Интересно, как они их достают? Видимо, из нашей корзины. Третий забрасывает своими творениями, не давая никакой передышки. Причем сопровождает их такой декларацией: «Чистый сердцем, не требую гонорара».

– Чистый сердцем? – восхитился Костик. – Это недюжинный человек.

– Так ответьте недюжинному человеку. Коль скоро у вас такие способности. Помогите уставшему сослуживцу.

Костик легкомысленно дал согласие и приобрел нового корреспондента. Раз в месяц он получал бандероли, заключающие в себе поэмы, баллады, просто стихи и тексты для песен. Содержание было духоподъемным и жизнерадостным. Однако же рифмы и размер не слишком занимали поэта. На что Костик, не изменяя своей манере, обратил однажды его внимание. Автор ответил благодарным письмом, в котором подчеркнул, что у него – свои задачи. «Дать людям бодрость и силу выдержать все испытания». Для достижения этой цели чем-то можно и пренебречь. Костик этого не оспаривал и выразил надежду, что с течением времени стихи найдут своего читателя. Оживленная переписка продолжалась. Счастливый Малинич едва успевал подписывать ответные письма.

Венцом редакционной славы Костика был его ответ некоему И.И. Маросееву. Этот Маросеев однажды выловил опечатку, о чем и сообщил редактору, с непонятной яростью требуя кары. Костик выразил Маросееву самую страстную благодарность и высказал уверенность, что такие письма, разумеется, помогут газете никогда более не совершать ошибок. Маросеев в новом письме заявил, что все это мило и хорошо, но за ошибки надо нести ответственность. Костик немедленно с ним согласился и ответил, что корректору строго укажут, причем, тот сам не находит себе места, удрученный сознанием своей вины. Редакция же благодарит читателя, выводящего ее на путь к совершенству. Это смирение не обезоружило и не умилило Маросеева. В своем третьем письме он хмуро заметил, что из раскаяния сотрудника не сошьешь шубы, между тем население введено в заблуждение. Газета должна напечатать статью, в которой она проанализирует допущенные ею ошибки и сообщит о том, как наказан виновный.

Впервые столкнувшись с такой неуступчивостью и беспощадной непримиримостью, Костик почувствовал себя озабоченным. Но состояние это длилось недолго. Поразмыслив самую малость, он сел за машинку и отстукал ответ.

Спустя две недели (срок немалый!) он был приглашен в кабинет редактора. Последний был нервнее обычного.

– Послушайте, – спросил он отрывисто. – Кто такой Маросеев? Что происходит?

Костик коротко осветил историю вопроса.

– Что было в вашем последнем письме? – спросил редактор, дергая веком. – Вы посмотрите, что он мне пишет.

Костик взял листок со знакомым почерком и с интересом узнал, что Маросеев, хотя и является сторонником самых строгих и жестких мер, все же смущен решением редакции и считает его перегибом.

– Каким решением? – спросил редактор. – Что мы решили, черт вас возьми?!

Костик сказал, что он сообщил Маросееву, что редакция согласилась с его протестом, признала, что выговор корректору – слишком мягкая, недостаточная мера возмездия. Она пересмотрена, и с виновным покончено.

На мгновение редактора перекосило. Казалось, он потерял дар речи.

– Вы что? Действительно помешались? – проговорил он со сдавленным стоном. – Хоть понимаете, что вы наделали?

– Геворк Богданович, – сказал Костик, – это был единственный выход.

– Но как же он должен это понять?!

– Как хочет, так пусть и понимает, – сказал Костик. – По своему разумению. Обезглавили, утопили в луже, повесили. Это уж дело его вкуса. С виновным покончено – вот и все.

Редактор заглянул ему в очи и ужаснулся.

– Ему же надо ответить! Что ему ответить, хулиган вы бесстыжий?

– Это мое дело, – сказал Костик. – Поверьте, больше писать он не будет.

В своем письме, на сей раз без всякой учтивости, Костик сделал Маросееву выговор за проявленную им непоследовательность. «Вы были правы, – писал Костик, – когда указали редакции на ее мягкотелость. Мы прислушались к вашей критике и сделали то, чего вы от нас требовали. Мы вместе – редакция и Вы, Меросеев, – приняли на себя ответственность за это суровое наказание. Поздно теперь вам вздыхать о случившемся. Будем надеяться, что эта история послужит всем серьезным уроком и поставит перед опечатками прочный заслон».

Целый месяц несчастный Геворк Богданович жил в ожидании катастрофы, но извержения не последовало. Сколь ни странно, прав сказался Костик – неистовый Маросеев умолк.

* * *

Летний вечер на диване за книгой, голоса с улицы, голос соседа, напевающего модный мотивчик, звонок телефона на стене у стола. Нехотя оторвавшись от чтения, он снимал трубку. Привет, Костя. Привет, родная. Не помешала? Какие проекты? Небольшой мальчишник. Так я некстати? Нет, очень кстати. Чуть не забыл взглянуть на часы.

Удивительно, что какие-то дни застревают в нас, а другие истаивают, вроде их и не было вовсе. Одни картинки впечатались намертво, а остальные – их большинство – исчезли, словно их стерли, смыли. И добро бы эти трофеи памяти были значительнее прочих. Ничуть. Но по странному ее выбору они остались и нет-нет являются с какой-то непонятной отчетливостью.

Вот так из множества давних дней остался тот изнурительный, знойный – когда он стоял, обливаясь потом, в очереди у железнодорожных касс. Остался разговор за обедом, когда родителям стало ясно, что эта поездка сына в столицу может переменить всю их жизнь. Остался вечер, упавший внезапно, как это всегда бывает на юге.

На площадке он едва не столкнулся с соседкой, которая испуганно метнулась в сторону. Робкая сухопарая девушка примерно лет тридцати восьми. Сколько Костик ее помнил, она всегда появлялась в одном одеянии – длинном, до пят, фиолетовом халате, в который куталась при любой жаре, зябко поводя острыми плечиками.

В последнее время, встречаясь с Костиком, соседка неизменно краснела и обнаруживала все признаки паники. Причина же заключалась в том, что Костик был на большом подозрении. Частые отлучки из дома и возвращения в неурочный час свидетельствовали о его поведении, а

подчеркнутая предупредительность говорила о том, что человек он опасный. Все эти смутные предположения оформились в твердую уверенность, когда Костик в изысканных выражениях сообщил, что дражайшая Елена Гавриловна его вдохновила на мадригал. Это произведение вмещалось в четыре строки и звучало следующим образом:

Пусть клонит криво лето выю,
Пусть осень клонит нас ко сну,
Сквозь ваши краски фиолетовые
Я вижу вечную весну.

Совершенно ясно, что Костик, гордившийся найденной им столь сложной рифмой, ставил чисто формальные задачи. Между тем у бедной Елены Гавриловны буквально перехватило дыхание. Стихи окончательно устанавливали порочность молодого соседа, хотя пристрастие к версификации было, пожалуй, его главным пороком.

Из этого, конечно, не следует, что женщины оставляли его равнодушным. Он пребывал в той счастливой поре, когда в каждой, не исключая самой Елены, он ухитрялся найти достоинства, но тем не менее он не мог не сознаться, что встреча со Славным еще привлекательней. В южной влюбчивости было нечто ритуальное, вроде хождения на балеты, она не затрагивала существа. Час Костика еще не пробил.

В ту пору постоянной подружкой была некая Жека. Она трудилась в конторе, названия которой он не мог ни выговорить, ни запомнить, равно как не мог уразуметь обязанностей, которые Жека там исполняла – какая-то скучная канцелярщина. Но в свободное время Жека участвовала в беге на средние дистанции и в этом качестве растревожила его богатое воображение.

В редакции все, что касалось спорта, было возложено на Майниченку. Это был узколицый нескладный парень с гордо вскинутой головой, похожий на взнузданного коня. Отношение к Майниченке его сослуживцев было насмешливо-покровительственным, но Геворк Богданович говорил о нем веско: знает спорт – и тут он не заблуждался.

Майниченко был своеобразным феноменом. Для него не было белых пятен. Он помнил не только все рекорды во всех видах соревнований, он помнил решительно все ступеньки на подступах к рекордным вершинам, все цифры, достигнутые в борьбе, все числа, в которые они были показаны. Имена боксеров и теннисистов, пловцов, штангистов и многоборцев не сходили с бледных уст Майниченки, он знал о них такие подробности и принимал так близко к сердцу все, что с ними происходило, будто был главой огромного клана, все члены коего бегали, прыгали, боролись, плавали и гребли. За исключением самого патриарха. Когда беседа сворачивала в спортивные дебри, Майниченке принадлежало последнее слово. Даже когда речь шла о футболе, в котором все были специалистами.

Под водительством Майниченки газетчики достаточно часто хаживали на футбольные матчи. Команда города не блистала, но была любима и уважаема. Были и в ней свои мастера, общие идолы и фавориты. Стадион был размещен в центре города, десять минут неспешной прогулки – и вы входили в гудящий круг. Новый строился на окраине, и завсегда та старая арены томились загодя при одной мысли о неизбежном расставании.

Иногда в этих вылазках принимал участие и сам редактор Геворк Богданович. Очевидно, требовалась разрядка. В демократической атмосфере неуправляемых народных страстей шеф буквально преображался. Болел он бурно и неумело, его комментарии носили столь вызывающе дилетантский характер, что Майниченко болезненно морщился и еще выше вздергивал подбородок, точно пробуя улететь от стыда. Но Геворк Богданович ничего не видел, он испытывал упоение жизнью, которым щедро со всеми делился:

– Нет, они хорошо, хорошо играют! Я просто рад, что сюда пришел!

Те, кто сидел наверху, веселились, а те, кто пониже, – оборачивались. Но редактор и не думал смущаться.

– Золотые ребята! – восклицал он, ликуя. – А Лукошкин – это просто талант!

– Лукашин, – негромко поправлял Майниченко.

Он страдал. На него было больно смотреть.

Именно Майниченко познакомил Костика с Жекой. Однажды она выиграла какой-то забег, и спортивный летописец сфотографировал ее для очередного репортажа. Фото так и не появилось, но к Майниченко Жека питала почтение, он подавлял своими познаниями.

Жека Костику приглянулась. Хотя он и постарался придать шутовскую окраску их отношениям, они его постепенно затягивали. Жека была плотная девушка с очень простым некрасивым лицом, крутобедрая, коренастая, занятия бегом не отразились на ее линиях и формах. Но зато от нее исходило столь заразительное ощущение здоровья и силы, что оно с лихвой компенсировало несовершенство облика, а также различие интересов и недостающую тему для бесед. Тем более что, когда удавалось встретиться, было уже не до разговоров.

Жила она вместе со старшей сестрой в старом доме в Нагорной части города. В общей квартире на втором этаже у них была просторная комната. На первом же обитал их дядя, которого Костик ни разу не видел. Молодой человек являлся поздно, когда сестра Жеки уходила на ночное дежурство – она работала в психиатрической клинике, – а дядя укладывался довольно рано. Тесной связи у Жеки с родичем не было, говорила о нем она неохотно и без особого уважения.

Таким образом, вдобавок ко всем своим статьям Жека имела еще и пристанище, и это достоинство заметно повышало ее удельный вес. Дорого стоил и ее характер – легкий и крайне непритязательный. Она никогда не говорила о будущем и, видно, не строила воздушных замков. Костик не мог ею нахвалиться.

– Что же, – сказал однажды Славин, – такие отношения очень приятны тем, что лишены обязательств. Но ведь это – двусторонний процесс, он не может длиться до бесконечности.

Костик и сам это понимал. Впрочем, разлука была неизбежной, хотя бы потому, что предстоял переезд. Разведка, в которую он собрался, бесспорно, многое прояснит. Не так-то легко перебраться в столицу.

* * *

Встреча с Яковом в этот вечер была намечена, как это часто бывало, в саду клуба автодорожников, или просто дорожников, – так говорили для краткости. Довольно ветхое заведение, функционировавшее только летом. Тем не менее весьма популярное. Во всяком случае, у журналистов. Объяснялось это тем обстоятельством, что директор, человек с выражением лица, уместным больше на панихиде, чем в клубе, относился к прессе с похвальной трепетностью. Всегда можно было рассчитывать на радушный прием. Час-другой за столиком на свежем воздухе, за дощатой стеной шел меж тем концерт – либо безвестные гастролеры, либо звезды местной эстрады. Мелодии не мешали общению, напротив, они создавали фон.

Важной приманкой клуба дорожников был черный кофе, который варил коричневолицый акстафинец с красивым именем Абульфас. Кофепитие прикрывало собой очевидную незатейливость ужина, предлагавшего неизменное блюдо – кусочек поджаренного мяса. Но не есть же они сюда приходили! Все это было частью игры – ужин в летнем саду, обмен новостями, красавица официантка Люда и, в первую очередь, Абульфас. Непомерные похвалы и восторги: «Что за кофе у Абульфаса», «Никто в мире не варит такого кофе», «Великий человек Абульфас» – сначала шутка, потом и культ. Возвеличивание чудодея поднимало и тебя самого, пользующегося его благосклонностью, придавало тебе некую избранность. И сам Абульфас в конце концов поверил в собственную незаурядность. По натуре он был немногословен, теперь

его молчание обрело значительность, подобающую знаменитому мастеру. Изредка он шеголял поговорицами, которые переиначивал самым невероятным образом, разумеется не подозревая об этом. Прибавьте к этому постоянную хмурость, вызванную безответной любовью к Люде. Требовалось совсем немного усилий, чтоб оторвать Абульфаса от почвы. На коричневом лице кофеварщика явственно проступали черты литературного персонажа.

Лучше всех понимал эту игру Славин, но, видя, какое удовольствие она доставляет его юному другу, великодушно принял ее условия. Лишь иногда в его интонации можно было прочесть усмешку. «Закончим ночь “у Абульфаса”, или, как говорят парижане, “ше Абульфас”?» – и углы его губ самую малость приподнимались. Но тут же он возвращал их на место. К общему удовольствию игра продолжалась.

Яков уже сидел за столиком, напротив расположился Пилецкий. Костик был с ним едва знаком, хотя тот не был пришельцем, как Славин, а земляком-аборигеном, работавшим в телеграфном агентстве. Этаким рыхлый сырой толстячок, уже приближавшийся к пятидесяти, честный безотказный поденщик, тихо строчивший свои заметки. Яков по доброте души связал его с неким столичным изданием, и теперь Пилецкий время от времени поставлял туда свои информации. Этот неожиданный выход на всесоюзную арену безмерно воодушевлял Пилецкого, он точно перешел в иное качество. Но счастье по самой своей природе непрочно и зыбко – московский шеф уходил на пенсию, и, значит, сотрудничество бедного Матвея Пилецкого становилось проблематичным. Все зависело от нового заведующего корреспондентской сетью – по слухам, им должен был стать Чуйко, не ведомый никому волжанин. Пилецкий нервничал и, как все неуверенные в себе люди, делился своими опасениями даже с малознакомыми людьми.

– Ты еще безбилетник? – спросил Славин Костика.

Костик пожал руку Абульфасу, еще более хмурому, чем обычно, и опустил на стул рядом с Яковым.

– Нет, можно сказать, я уже пассажир. Что с Абульфасом? Уж больно мрачен.

– Кто знает? – пожал плечами Славин. – Люда отсутствует. Вот моя версия.

– Будем верить, это не отразится на кофе, – выразил надежду Костик. – Как ваши дела, Матвей Михалыч?

– Сам не пойму, на каком я свете, – со вздохом отозвался Пилецкий. – Говорят, что с Чуйко – вопрос решенный.

– Ну и что из того? Не съест же он вас, – заметил молодой человек.

– Про это, Костик, никто не ведает. – Пилецкий печально махнул рукой. – Вы собрались в Москву, насколько я знаю?

– Так точно. Могу захватить письмецо.

– Благодарю вас. Надо подумать, – Пилецкий поднялся с горьким кряхтением. – До свидания, Яков. Так ты поразмысли... Костик, счастливого вам пути.

– Бедняга, – сказал Костик с улыбкой, глядя, как он плетется к выходу. – Еще одна бессонная ночь.

– Нет от судеб никакой защиты, – меланхолически кивнул Славин.

Оба сочувствовали Пилецкому, с той разницей, что за участием Якова были годы, насыщенные событиями, весьма драматическая судьба и – как следствие – понимание, что творилось с тучным смешным человеком, ощутившим колебание почвы под ревматическими ногами. В Костике собственная доброжелательность вызывала к тому же приятное чувство. Удивительно поднимало дух – хотя он в этом себе не сознался б – сопоставление этой жизни, барахтающейся, по существу прозябающей и потихоньку сходящей на нет, с тем, что испытывал он в это лето, и с тем, что ему еще предстояло, – сладкое ощущение силы, запах удачи, долгий маршрут.

Они сидели, почти не прислушиваясь к долетавшей из-за стены мелодии, но она входила в состав вечера, вбивавшего походя в свое движение все дальние и близкие звуки, все разли-

чимые цвета – дыхание моря, шелест листвы, пляску теней на садовых дорожках, свечение звезд и фонарей. Частью вечера был и их диалог, такой же неспешный и элегический, прелесть которого состояла не в содержательности, а в тоне и взаимной симпатии собеседников.

И вдруг решительно все изменилось – раздали жидкие аплодисменты, двери распахнулись, в сад хлынули люди – окончилось первое отделение. Костик вспомнил, что нынче в клубе концерт городского эстрадного оркестра под управлением Павла Каценельсона. Оркестр выступал у дорожников часто, музыкантов все хорошо знали, и они легко переступали барьер, отделявший зрителей от артистов. В антракте они обычно прогуливались среди тех, кто пришел на их выступление.

К столику Якова и Костика приблизился вальяжный брюнет, несколько раздавшийся в талии. Над небольшим алебастровым лбом нависала мощная шевелюра. Пышные волны в мелких колечках лежали широкими террасами, сужавшимися при подъеме к вершине. Лицо его сильно напоминало спелый, на диво созревший плод. Спелыми были обильные щеки и алые вывернутые губы, занимавшие много больше места, чем это им обычно положено, очень похожие на седло. Впрочем, их вызывающую величину компенсировал скромных размеров нос, едва заметный на круглом лице. Зато обращали на себя внимание темно-смородиновые очи, несколько выкатившиеся из глазниц. Они взирали на белый свет с тайной обидой и подозрением.

– Вечер добрый, пришли нас послушать? – осведомился он у друзей.

– Не взыщите, Эдик, из-за стены, – ответил Славин, кивая на стол.

– Вы ничего не потеряли. – Эдик махнул округлой дланью. – Публика сонная, не раскачаешь, ребята тоже костей не ломают. Каценельсон из себя выходит. Я нарочно ушел подальше. Так надоели его истерики... По натуре это тиран.

Эдик Шерешевский был трубачом, фигурой по-своему популярной. Он ухитрялся *заполнять собою пространство*. С ним постоянно случались казусы, о его бесцеремонности ходили легенды, равно как о его донжуанском списке. Но сам он себя воспринимал по-иному. К любым проявлениям авантюриности относился неодобрительно, в себе же ценил моральные принципы, положительность и здравый смысл. Костик только диву давался, когда этот страстный женолюб так непритворно сокрушался по поводу прохудившейся нравственности. Было трудно понять, чего тут больше – наглости или же простодушия. В конце концов он пришел к убеждению, что Эдик – законченный экспонат и что труба Эдика много умнее Эдика. Славин этого не оспаривал, но, бывало, ронял, что не все так просто.

– Я, пожалуй, присяду на полминутки, – сказал Эдик, опускаясь на стул. – Здравствуйте, Котик, рад вас видеть.

Костик поморщился. Он не любил своего уменьшительного имени. В детстве оно ему доставляло болезненные переживания. В этом сочетании звуков заключалось что-то обидно ласкательное, вполне домашнее и ручное, лишенное даже оттенка мужественности. Это было унизительно точное имя «мальчика из хорошей семьи». Он бунтовал и, к досаде родителей, требовал, чтоб его звали Костиком. В «Костике» было нечто уличное, угадывался сорвиголова. Костик был так упрям и настойчив, что второе имя привилось, с возрастом «Костик» стал возникать все чаще и остался некоей визитной карточкой, которая извлекалась на свет не только для незнакомых девушек.

– Вот и Эдик, – сказал Костик. – Сей остальной из стаи славной каценельсоновских орлов.

– Сами сочинили? – спросил Эдик.

– Почти. Пушкин Александр Сергеевич приложил руку.

– Так и сказали бы, – поморщился Эдик. – Я и сам иногда не прочь пошутить, но, если Пушкин, при чем тут вы?

– А я говорю вам, здесь было соавторство. Разве же вам самому не ясно, что «каценельсоновских» – это мое?

– Ай, бросьте... – Эдик махнул рукой. Показав глазами на Абульфаса, он, понизив голос, сказал Славину: – Спросите этого мавра, где Люда?

– А что сами не спросите?

– Будет рычать. Распустился. Испортит все настроение. А мне сейчас на сцену идти.

– Абульфас, – спросил Яков – неизвестно, где Люда?

– Люда больна, – отрубил Абульфас.

– Чем же?

– Она мне не говорит.

– Бедная девочка, – сказал Эдик. И добавил разочарованно: – Полный бекар.

На его наречии эти слова означали фиаско.

Абульфас проворчал как бы в пространство:

– Пустой человек. Ни хвост ни грива. Какой с ним может быть разговор?

– Постыдись перед лицом окружающих тебя людей! – с негодованием крикнул Эдик.

– На воре тряпка сгорела, – сказал Абульфас, продолжая беседу с самим собой.

– Нет, как вам это нравится! Просто черт знает что! – возмущение Эдика не имело пределов. – А для администрации – я поражаюсь! – все это в порядке вещей...

К директору клуба у него были давние претензии. Устойчиво кислый взгляд, посредством которого директор общался с внешним миром, Шерешевский почему-то относил на свой счет и находил в нем нечто глубоко оскорбительное. Костика всегда умиляла та непосредственность, с какою Эдик требовал от человечества ласки. Даже равнодушие было для него нестерпимым. Внимание дам, с одной стороны, уверило его в своей исключительности, с другой же – сделало уязвимым. Дамы самого разного возраста и впрямь носили его на руках. Оставалось лишь пожимать плечами, видя, как они млеют от цветистого мусора, который Эдик обрушивал на их головы. Этот ли водосброс красноречия, тон ли, ленивый, несколько сонный, но не допускающий возражений, – все вместе воздействовало на собеседниц с почти неправдоподобным эффектом.

Славин однажды сказал Костику:

– У него штампов – вагон с прицепом и, на его счастье, нет вкуса. Стало быть, его дело в шляпе. Когда он вещает, все ласточки гибнут. Ведь слышат они именно то, о чем мечтают в бессонные ночи. И чихать им на наше чувство меры.

Естественно, соперничать с Эдиком Абульфасу было не по плечу, несмотря на все похвалы его искусству готовить кофе. К тому же для Люды он был сослуживцем, а Шерешевский был артист, существо из другого мира. Можно только вообразить, что с ней творилось, когда он, как бы нехотя, выходил на авансцену, раздувал свои щеки, еще протяженной выворачивал мясистые губы и впивался ими в шейку трубы. И этот бог, повелитель звуков, находил в ней достоинства! Как не свихнуться?

Между тем Эдик не мог успокоиться. Явное недоброжелательство ближних просто лишило его равновесия.

Славин старался его утешить.

– Ничего не поделаешь, – сказал он задумчиво, – это оборотная сторона вашего успеха у женщин.

Хорошее настроение вернулось к Эдику.

– Ну-ну, – сказал он. – Как говорится, не я имею у них успех, а они имеют успех у меня.

– Будет вам скромничать, – сказал Костик, – о ваших триумфах легенды ходят.

– Ну-ну, – сказал Эдик, излучая сияние, – я и сам иногда не прочь пошутить, но тут, знаете, не до шуток.

– Вам надо жениться. Не то пропадете. Слишком лакомый вы кусочек.

– Вот еще, – Шерешевский нахмурился, – даже себе не представляю, какая это должна быть женщина, чтоб я добровольно отдал свободу.

– Она вашу жертву безусловно оценит.

– Никогда, – сказал Эдик. – Они не способны. Они просто-напросто не могут понять, что значат брачные кандалы для мужчины. Они думают, что это брошки-сережки. Нацепил – и гуляй в свое удовольствие. Они не испытывают никакой благодарности. Я в субботу был в гостях у приятеля – мне просто кусок в глотку не лез. Супруга весь вечер на него фыркала. И это не так, и то не так. Я не выдержал, после его спросил: «Она что, помешалась? На кого она фыркает? На мужчину нельзя замахнуться даже цветком!» Честное слово, после этого ужина я буквально не находил себе места.

От возмущения Эдик совсем разругался.

– Круто обходитесь с ихней сестрой, – сказал Славин, покачав головой.

Эта реплика понравилась Эдику, но он умел быть самокритичным.

– Не скажите. Я, в сущности, очень мягкий. Вот почему всем этим дамочкам в конце концов удаются их планы. Однажды мы были на гастролях, я жил в гостинице, тихо, спокойно. Вдруг вижу – пуговица оторвалась. Что делать? Постучался к соседке – прошу у нее нитку с иголкой. В мыслях у меня ничего не было и настроения никакого. Но ведь только переступи порог! Вырваться было уже невозможно. Вот тебе и нитка с иголкой! Разумеется, я понимаю, что ее надо было призвать к порядку. Но я человек по натуре добрый, боюсь обидеть, не хватает характера. Не могу стукнуть кулаком, сказать: «Нет! Оставьте меня, наконец, в покое!» Вот они и делают что хотят.

– Трудное у вас положение, – сказал Яков.

– Ого! – Эдик горько вздохнул. – Такие, я вам скажу, эгоистки. С ними очень просто испортить здоровье.

– Ну, здоровьем вас бог не обидел.

– Здоровье шикарное, – согласился Эдик. – В этом нет сомнения. Спасибо родителям. Но все это до поры до времени. Здоровье, знаете, надо беречь.

– Вот, Костик, о чем тебе надо помнить. Он ведь у нас собрался в Москву.

– Ах, так? Желая приятных попутчиц, – воскликнул Эдик с воодушевлением.

Это напутствие противоречило его недавним lamentациям, но Костик воспринял его с удовольствием. Всякое упоминание о предстоящей поездке радостно отзывалось в душе.

– Попутчица у него есть, – сказал Яков.

– Поздравляю. И я ее знаю?

– Очень знаете. Жена Рыбина.

– Маркушина Анечка? Удивительно. Как это он ее отпустил?

– Мы с ним вместе брали билеты, – сказал Костик немного поспешно во избежание криво толков.

– А он не просил за ней присматривать? Отчаянный человек Маркуша.

В ответ Костик приподнял брови, выразив крайнее недоумение. Слова Шерешевского таили нечто, но рассеять этот туман почему-то не возникало желания.

Славин переменял тему:

– Во всяком случае, все, что вы нам сообщили, неоднозначно и поучительно. Тем более что за вашими выводами стоит серьезный жизненный опыт.

– В этом нет сомнения, – заверил Эдик.

– Само собой. Но должен сознаться, этот опыт наводит на грустные мысли. В сущности, вы сейчас рассказали о тотальном несовпадении устремлений мужчины и женщины. Мужчины – лирика, идеалиста – таким я воспринимаю вас – и женщины, которой свойственно потребительское начало.

Эдик едва не обнял Славина.

– Замечательно! – он хлопнул в ладоши. – Именно это хотел я сказать.

– Слишком вы для женщин высоки, – сочувственно произнес Костик. – Есть стихи, они прямо от вашего имени...

Эдик воззрился на него с подозрением:

– Что вы имеете в виду?

Костик с чувством продекламировал:

Ведут себя девушки смело.
Но их от себя я гоню.
Не нужно мне женского тела.
Я женскую душу ценю.

– Тоже Пушкин? – спросил Эдик.

– Мое, – скромно сказал Костик.

– Небось заливаете?

– Чистая правда. Это вы меня вдохновили.

– Я – свидетель, – подтвердил Славин.

– А запишите их мне на память, – попросил Эдик.

– Да ради бога. – Костик исполнил его желание.

– Вы все же талантливый человек, – признал Эдик, пряча листок.

– Не зря же он едет в Москву, – сказал Славин. – Ему нужны другие масштабы. Он ведь пишет не только стихи. Он готовит незаурядную книгу.

– Нет, правда?

– «Выбранные места из переписки с неистовыми друзьями».

– А что это значит?

– Ему люди пишут – в основном на редакцию. Вот эти письма и свои ответы он решил обнародовать для общей пользы.

– Свои ответы? Но он же их отослал.

– Прежде чем отослать, он делает копии.

– Каждый раз?

– Непременно. Он малый – не промах. Он у нас себе на уме.

– С ума сойти. А вы меня не разыгрываете?

– Помилуйте, Эдик...

– Нет, в самом деле... Иногда я и сам не прочь пошутить.

– Какие шутки? Шутить не надо. Надо собирать свои письма. Вы знаете, что такое архив? Эдик задумался. Потом сказал:

– Я редко пишу их. И очень коротко. Правду сказать, я довольно ленив. А уж делать копии...

– Вы нас обкрадываете. Очень жаль.

– Почитали бы нашу Леокадию, – сказал Костик. – Она бы вам наверняка объяснила, что каждый человек – это мир.

– Что за Леокадия? – спросил Шерешевский.

Лицо его выразило живой интерес, который возникал у него почти рефлекторно не только при появлении женщины, но даже при упоминании женского имени.

Леокадией звали одну из сотрудниц, писавшую очерки о своих земляках, чем-то обративших на себя внимание. Занимали ее и темы этики, им она отдавала много творческих сил. При знакомстве, рекомендуясь, она называла себя публицисткой.

Это была премилая дамочка, недавно отпраздновавшая тридцатипятилетие, – уютное, замшевое существо, похожее на пышную плюшку. На каждой щечке ее было по ямке весьма соблазнительного свойства. Ее природное добросердечие располагало к ней все сердца. Немо-

лодой поэт Паяльников, приносивший стихи к юбилейным датам, был в нее безнадежно влюблен, о чем сообщал каждому встречному. Костик также питал к ней симпатию, что, однако, не мешало ему вылавливать из ее статей две-три обязательные жемчужины. Эти выходки сильно ее травмировали, один раз она даже всплакнула, и Паяльников приходил к Духовитову, требуя призвать наглеца к порядку.

Эдика от таких подробностей Костик великодушно избавил, заметив только, что речь идет о женщине и обаятельной, и охотно пишущей о людях искусства. Возможно, в один прекрасный день и Эдик с его волшебной трубой вдохновит Леокадию на яркий очерк, как сегодня он вдохновил Костика на поэтическую миниатюру.

– Что же, есть новые достижения? – спросил Славин.

Костик неторопливо достал вырезку из вчерашнего номера и прочел отчеркнутые три строки:

– «Эlegantный, со значком депутата райсовета, с красивыми точеными руками – кто он? Актер? Художник? Музыкант? Эльдар Назимович Гаджинский оказался наркологом».

– Ах, она моя прелесть, – умилился Яков. – Какое сквозит томление духа, какая тайная жизнь сердца... Да, Леокадия – это сокровище.

– Я то же самое ей сказал, – кивнул Костик, – а она бушевала.

Эдику цитата понравилась.

– Интересная женщина, – проговорил он. – Я бы с ней познакомился, в этом нет сомнения.

– Скажите, Эдик, – спросил Костик, – вы, часом, не слышали историю про двух товарищей-кирпичей?

– Про кирпичей? – удивился Эдик. – Нет. Расскажите. Не очень длинная?

– Даже короткая. Ползут кирпичи. По крыше. Один заглянул за карниз, на тротуар, и грустно вздохнул; «Что-то нынче погода нелетная». А приятель его ободрил: «Ничего, был бы человек хороший...»

Эдик долго думал, потом долго смеялся.

– Видите, что значит быть оптимистом, – сказал ему Славин. – Завидное качество.

Отсмеявшись, Эдик одобрительно оглядел Костика своими смородиновыми ягодками.

– Умора... А вы, Котик... Нет, честное слово... вы не лишены элементов юмора.

– Элементы имеются, – кивнул Яков. – На элементах только и держимся.

Дни перед отъездом пронеслись стремительно. Костик едва успел ответить на новые письма. Почти все они были на сей раз «по делу», не считая очередного послания некоего Ровнера, прозванного в редакции «нашим собственным комментатором». По-видимому, это был пожилой человек, находящийся на заслуженном отдыхе, но не утративший юного жара. В отличие от всех остальных он не требовал, не сигнализировал, ничего не просил и не добивался. Он лишь откликался на материалы, появлявшиеся на газетных полосах. Реакции его отличались невероятной эмоциональностью, он ликовал и негодовал с равной страстностью и безудержностью. «Душа поет, когда читаешь такое!» – писал он по поводу сообщения о благоустройстве городских купален. «Просто опускаются руки, когда сталкиваешься с таким безобразием!» – начиналось следующее письмо.

На этот раз Ровнер так же пылко возмущался поведением киоскера, о котором он узнал из заметки, обнародованной на прошлой неделе. Этот работник книготорговли то и дело покидал свой пост, в утешение оставляя записки, образцовые по лапидарности: «Ушел», «Вернусь», «Буду послезавтра».

«Стынет кровь, когда читаешь о такой наглости! – писал Ровнер. – Десятки, а может быть, сотни жаждущих приходят к нему за печатным словом, хотят узнать, как растет страна, что происходит на белом свете, и встречают подобный плевок в лицо! Этот киоскер что-то особенное! Честь и слава зоркому журналисту, не прошедшему равнодушно мимо распоясав-

шегося бездельника! Честь и слава моей любимой газете, пригвоздившей к позорному столбу наглеца!»

По поручению Духовитова Костик поблагодарил Ровнера.

«Верный друг нашей газеты (разрешите именно так вас назвать)! Ваши письма – лучшее оправдание нашей неутомимой деятельности по искоренению недостатков. В Ваших письмах мы черпаем вдохновение и свидетельство, что живем недаром. Они вливают в нас новые силы и поддерживают в нелегком труде. Вы правы, встреча с таким киоскером способна на какое-то время подрубить крылья. Он так обленился, что ему уже тяжело написать «ушел на базу», его хватает на одно лишь слово «ушел». Спрашивается, зачем мы работаем, пишем, выпускаем наш орган, если этот безответственный лодырь встает на нашем пути к читателю? Но мы преодолеваем сомнения, мы вновь поднимаем свои перья, вновь устремляемся к нашим столам, не поддаваясь минутной слабости. Я рад сообщить вам, что наше выступление не прошло бесследно – киоскеру строго указано».

– О наших сомнениях могли бы не писать, – сказал Духовитов, ставя свою подпись.

– Пусть он видит, что даже и нам ничто человеческое не чуждо, – возразил Костик. – Это сближает.

Обратился к Костику и Малинич. Пришел очередной пакет от бескорыстного стихотворца. То было длинное стихотворение – взволнованный диалог между юношей, сломленным разлукой с любимой, и автором, терпеливо внушавшим, что только самозабвенный труд на благо людей поможет нытику. Жизнь – это счастье, данное в долг. Этот долг необходимо вернуть.

Мысли поэта, как обычно, возражений не вызывали, но стойкое пренебрежение к рифме и все та же путаница с размером снижали общее впечатление.

Костик вновь выручил сослуживца. В своем письме он отметил, что за последнее время автор вырос и набирает силу. Важность поднятых им вопросов бесспорна, что выгодно его отличает от многих собратьев по перу. Осталось преодолеть отставание в вопросах формы. Это можно сделать, а как это сделать, учит сам поэт – «самозабвенно трудясь». К этой плодотворной позиции ничего не остается добавить.

Малинич долго благодарил, сказал Костику, что он прогрессирует ничуть не меньше, чем автор стихов. Они расстались, довольные друг другом.

Безусловно, важным был визит к профессору, у которого Костик защищал диплом. Профессор посулил ему дать письмо к московскому коллеге, тому самому, с кем Костику предстояло встретиться на предмет поступления в аспирантуру. К профессору Костик относился почтительно, что в ту пору с ним случалось не часто: правила игры пиетет исключали. Но профессор завоевал уважение. Во-первых, он очень много знал; во-вторых, явно отличал Константина, что свидетельствовало в его пользу. Костик называл его про себя стариком, хотя Станиславу Ильичу Ордынцеву было немногим больше пятидесяти и он всего год назад как женился на своей недавней студентке. Это событие не прошло незамеченным и в течение, по крайней мере, двух месяцев обсуждалось достаточно интенсивно.

Жил он на тихой улице в старом доме. И в квартире его был этот запах ветшающего и разошедшегося – он шел от мебели, от книжных полок, от скрипучих, стершихся половиц. Несмотря на жаркий ослепительный день, в комнатах было темно и прохладно, защищающие от солнца шторы были плотно сдвинуты, лишь слегка колебались, когда по ним пробегал ветерок. На древних креслах белели чехлы. От всего этого – от недостатка света, от чехлов, от старых переплетов на полках, тускло блестевших бронзовыми буквами, – казалось, что снаружи не полдень, а сумерки.

Костика ожидал конверт с обещанным письмом к москвичу.

– Когда-то мы были с ним хороши, – сказал Ордынцев, – и отношения были теплыми, и мнение мое для него что-то значило. Будем же уповать на то, что он вас встретит с должным вниманием. Рекомендую я вас со спокойной душой. Человек вы способный, с живым умом.

«Слишком живым», – вздохнул про себя молодой гость, слушая, как говорит хозяин – негромко, подчеркнуто неторопливо. От такой подачи каждое слово обретает значительность и вес. «Умный не частит», – подумал Костик, с грустью понимая, что такой стиль общения ему пока еще не доступен, – возраст быстро даст себя знать.

Вошла жена профессора с подносом в руках, черным, в затейливых цветных узорах. На подносе стояли две чашки с чаем и тарелочка с галетами.

– Угощайтесь, пожалуйста, – сказала она, ставя на стол чашки и блюда.

У нее был низкий голос, а сама она была долговяза, угловата, передвигалась с опаской, точно боясь задеть кого-либо или стукнуться невзначай. Собственный рост ее стеснял, она превосходила им мужа, хотя сам Ордынцев был крупным мужчиной.

– Благодарю вас, – сказал Костик, – у вас очень гостеприимный дом.

Профессорша была старше Костика на год, может быть, на два, он к ней обратился на «вы» с некоторым напряжением. Возможно, что-то она почувствовала – вдруг покраснела, заспешила и, неловко кивнув, вышла из комнаты.

Станислав Ильич проводил ее ласковым взглядом.

– Молода еще, – сказал он с улыбкой.

Они выпили по чашечке чаю, и Костик поднялся.

– Что ж, в добрый час, – сказал профессор, – молодой человек должен себя испытывать. И судьбу свою – также. Перебирать возможности. Ему нет смысла сидеть на месте. Меня сильно помотало, пока я осел.

Этот глагол будто хлестнул Костика, он невольно поежился.

«Осесть», – подумал он, – страшное слово. За ним – неподвижность и итог. Все закончено и ждать больше нечего».

Словно угадав его мысли, профессор сказал:

– Нельзя плыть по течению. Это еще Гераклит заметил: если ты не ждешь, с тобой не произойдет ничего неожиданного.

«Экая умница», – пробормотал Костик, выходя на полдневную знойную улицу. Было радостно от одной уже мысли, что в городе, почти по соседству, живет мудрый, всеведущий человек, который ему не отказал ни во времени, ни в поддержке.

Но вместе с благодарностью молодой человек испытал непонятное облегчение, оказавшись под жгучим безжалостным солнцем после прохладного полумрака. Почудилось, что обогрелась душа. «Да, он прав, – размышлял Костик, – опасней всего – плыть по течению. Тем более это так соблазнительно. Все силы уходят на благие намерения. Нужно сильно хотеть переменить доставшийся вариант жизни. Очень, очень сильно хотеть. Сильные – хотят, а слабые – желают».

Родив столь туманный афоризм, он стал разыскивать автомат, чтобы позвонить Жеке в ее контору.

Они условились и вечером встретились, но оба были разочарованы. У сестры изменился график дежурств, и посещение их гнезда оказалось на этот раз невозможным. Оставалась только скамья на бульваре, куда они, погрузив, и отправились.

Бульвар своей крайней аллеей упирался в море, она тянулась, кажется, бесконечно, с одной стороны доходя до косы, с другой – сворачивая к морскому вокзалу, к порту, где шла своя бессонная жизнь и где любили торчать мальчишки.

Но детство Костика пришлось на войну, и порт, как у многих его ровесников, отпечатался в нем другими картинками. Особенно летом сорок второго, когда он прибежал сюда школьником и ему представало невероятное зрелище.

У всех причалов, вдоль и в глубь берега, сколько охватывал его взгляд, сидели, лежали или прохаживались женщины, старики и дети, сорванные с родных мест нашествием. Мужчин молодых или среднего возраста было сравнительно немного, иные не сняли еще гимнастерки, опирались на костыли.

Позади были спаленные огнем дороги, эшелоны, теплушки, товарняки, многодневные стоянки на станциях, самолеты с черными крестами, вой, грохот и судорожный перестук колес. И вот, кто уже совсем налегке, кто с жалким скарбом, они ожидали своей очереди переплыть через море, сделать еще один бросок. Впереди был плавающий под лютым солнцем Красноводск, в нем уже начиналась загадочная Средняя Азия – как она встретит, что в ней ждет?

Подросток выхватывал отдельные лица, неосознанно в них искал необычного, принесенного из другого мира, который и подавлял и притягивал. Но лица беженцев при всей их несхожести хранили общее выражение усталости и оцепенения, слишком длинный был пройден путь.

Было душно, было сухо во рту, близость коричневой мазутной волны не освежала, не давала пролады, жаркий ветер гнал комковатый песок, оседал серой пылью на щеках, и люди тоже казались серыми, пыльными.

Запомнилась одна старушка, которая, подложив мешок под голову, полулежа на своем чемодане и придерживая костяной ручонкой пенсне, то и дело сползавшее с переносицы, увлеченно читала какую-то книжку. Мальчик неслышно наклонился, пригляделся – книжка оказалась французской.

Потом он не раз туда приходил, поток не иссякал еще долго и рассосался лишь к поздней осени.

Было трудно в благодный прятный вечер оживить этот трагедийный мир, от которого отделяло, в сущности, так немного, всего одиннадцать лет, – и целительное и жестокое свойство даже самой чуткой и острой памяти.

Море накатывало и урчало, колотясь в пористый, мшистый камень. Звезды рассыпались по черному пологу в беспорядке, где золотистыми стайками, где одинокими светлячками, пахло солью, йодом, влажной свежестью, и казалось, что все вокруг – кусты, деревья, песок на дорожках, – все обрызгано невесть как долетевшей до их аллеи темно-коричневой волной.

Они сидели среди многочисленных парочек, таких же бесприютных скитальцев, сидели, милюясь, сплетясь, как ветви, исходя в изнурительных бесплодных ласках.

Передохнув, Жека сказала:

– Все из-за дядечки моего. Не был бы он такая лапша, давно б ему дали свое жилье. Ему, как инвалиду, положено. Тем более комната эта сырая. Была бы она тогда моя.

– Ты говоришь, она – сырая...

– Ему сырая, а мне – сойдет. Возраст пока еще позволяет. Не мыкались бы с тобой по скамейкам...

– А он может один, без вас?

– Проживет. Привычный. И так редко видимся.

Она прижалась еще тесней. Он чувствовал, сколько сдавленной силы бродит в ее могучем теле, неукротимо требуя выхода.

«К черту! – ругался он про себя. – Пора прекратить эти сидения. К чему эти пытки? Мы – не дети. Будь я проклят – в последний раз!..»

Но такие клятвы он давал себе часто. Твердости ненадолго хватало. Всего до следующего свидания.

– Знай край, да не падай, – шепнула Жека.

Возвращались медленно, шли неспешно по сонным, уставшим за день улицам и так же неспешно переговаривались. Неожиданно Жека засмеялась. Он удивился.

– Ты – чему?

- А так, – она повела плечом. И спросила насмешливо: – Как живете-можете?
- Как можем, так и живем, – буркнул Костик.
- Терпи, казачок, казаком будешь, – она шлепнула его по лопатке.

* * *

Накануне отъезда отец сказал, что в Москве проживает старый знакомый, к которому можно обратиться, если возникнет такая надобность.

– Мир состоит из старых знакомых, – невольно усмехнулся Костик. – Сперва Ордынцев, теперь и ты, вспоминаете полузабытых людей.

– Я не забыл, – сказал отец, – думаю, и он меня помнит. Мы с ним из одного города, это, знаешь, особое дело.

Выяснилось, что преуспевший земляк работает, как и Костик, в печати и может дать полезный совет.

Будущему аспиранту было неясно, зачем ему нужен чей-то совет, советов он наслушался вдоволь, но он кротко записал в свою книжечку еще один телефонный номер.

Сын знал, что больше всего на свете отец не хочет его отъезда, что он смертельно боится разлуки. То, что сейчас он извлек из памяти координаты столичного друга, дал, таким образом, еще одну зацепку, было в известном смысле жертвенным актом.

Провожал Костика кроме отца еще и Пилецкий, усталый и смутный. Московский шеф ушел окончательно, таинственный волгарь еще не возник, стало быть, образовался вакуум, сводивший беднягу Матвея с ума. В конце концов он решил написать сотруднику, которого знал еле-еле. К письму прилагалась бутылочка коньяка местного производства. И то и другое он привез на вокзал.

Костик заверил, что все исполнит, хотя эти конвульсии – так про себя он определил волнения и поступки Пилецкого – вызывали неприятное чувство. Не дай бог вести себя подобным образом, даже если придется быть просителем. На что рассчитывает человек, так просто теряющий свое лицо?

Почти перед самым отходом поезда появились Маркуша Рыбин с Анечкой. Маркуша был непривычно бледен, напряжен, а его жена, по обыкновению, всем улыбалась. Своею легкостью и бархатистостью она чем-то напоминала Костику его сослуживицу Леокадию, но в отличие от публицистки, слишком пышной, слишком округлой, фигурка у Анечки была точеная.

Рыбины едва успели расставить вещи, торопливо поцеловались, Маркуша проговорил: «Ну, с богом, не задерживайся, родная». Анечка ласково его оглядела и провела пуховой ладошкой по его волосам. Вагоны вздрогнули.

– Счастливо, Костик! – крикнул Пилецкий. – Так я рассчитываю на вас!

Костик кивнул, обнял отца и ухарски вспрыгнул на ступеньку. Поезд тронулся, вслед ему хлынула музыка.

В ту пору поезда уходили, напутствуемые прощальным маршем; в том было немалое очарование. И пусть для большинства пассажиров поездка была привычным делом и не таила больших сюрпризов, марш словно внушал им, что будни кончились, впереди же нечто непредсказуемое – не одна только перемена мест, возможен и поворот судьбы.

Город таял, иссякали предместья, но Костик войти в купе не спешил, стоял в тамбуре, прислушиваясь к догравшему маршу, мажорную часть сменила лирическая с ее отчетливо слышной грустью. И неожиданно для себя он обнаружил, что в этой мелодии есть нечто от собственной его природы, достаточно двойственной и неустойчивой. Как прорывается сквозь эту бодрость второй – тревожно задумчивый – голос. От себя не уйдешь, он склонен к меланхолии, хорошо ощущает, как скоротечна любая счастливая минута, его первое любовное чувство кончилось и кончилось плохо. Так рвались друг к другу, и что же вышло? Боятся случайно

столкнуться на улице, до сих пор слишком болезненно – жжется! Жека – совсем другое дело, и он и она это понимают. А между тем как тянет его звучать мажорно. В этом и состоит игра. Стать тем, кем видят его другие, кем хочется быть – молодым победителем, ведущим свою веселую партию, одаривать радостью себя и ближних. Хотя бы приблизиться к этому образу – сколько на это положено сил! И ведь многих ему в конце концов удалось убедить в том, что он в самом деле таков. Необходимо убедить и себя, тогда он сумеет овладеть жизнью. Чего бы ни стоило, убедить себя – это и принесет удачу.

В купе кроме Костика с Анечкой расположились рыхлая дама и бодрый розовый толстячок, уже облачившийся в спортивные рейтузики, в школе их называли «финками». Они весьма вероломно подчеркивали его широкие бедра и таз. Костик решил, что это супруги, так они подходили друг к другу, но догадка оказалась неверной. Толстячок неотрывно смотрел на Анечку, помогал ей удобнее разместиться, сыпал шутками, судя по всему, старался произвести впечатление. Час назад он взлетел с родного насеста, и теперь дурманящий воздух свободы, обретенной на ограниченный срок, кружил его полысевшую голову.

«Наше счастье, что мы себя со стороны не видим», – подумал молодой человек.

Появление Костика обеспокоило розового путешественника, а когда он понял, что юный сосед и красивая пассажирка знакомы, то не сумел скрыть огорчения. По тому, как он напряженно посматривал, и по его осторожным вопросам было ясно: он хочет установить, какие их связывают отношения. Ситуация веселила Костика, доставляло удовольствие морочить голову озабоченному попутчику и, пряча под безупречной корректностью снисходительное превосходство, вдруг ненароком его обнаруживать. Рыхлая дама наблюдала за ними молча, словно тая про себя некую неизбывную думу. Время от времени она шумно вздыхала.

Перекусили и стали укладываться. Чтоб не тесниться, не мешать соседям, Анечка и Костик вышли. Стоя у окна в коридоре, они словно провожали взглядом темнеющие поля и чащи, которые убегали от них назад к оставленному ими городу.

Костик поглядывал на Анечкин профиль, на бойкий каштановый завиток, упавший на загорелую щечку. Как всегда присутствие молодой женщины сильно действовало на него. Анечка была так мила, не хотелось вспоминать о Маркуше.

– А ведь это, в сущности, подарок фортуны – ехать в Москву с такою спутницей, – сказал он, озорно улынувшись.

Анечка ласково рассмеялась, будто бубенчиком прозвенела.

Наклонившись к ее ушку, Костик пропел: «Едва достигнув юношеских лет, уже влюбляться спешим в балет...» – И, ободренный ее хохотком, довел старинный куплет до конца: – «Тот не мужчина среди мужчин, кто не влюблялся в юных балерин».

Он ждал нового знака одобрения, но она вздохнула и сказала с неожиданной серьезностью:

– Какая ж я юная, Костик? Мне сорок через четыре года.

Он еще не успел стереть с губ улыбки опереточного жуира:

– Какая чушь, любезная Анечка! Во-первых, тридцать шесть – это пленительный возраст, а во-вторых, кто ж вам даст ваши годы?

– Да я сама, – ответила Анечка. – А ведь это самое важное. Через четыре года – я уже пенсионерка. У нас, балетных, свои сроки. И вообще... время бежит, Ох, как бежит... вам не понять.

Он все не мог найти верного тона и игриво продолжил:

– То-то Маркуша просил меня за вами присматривать.

– Маркуша – золотой человек, – задумчиво проговорила Анечка.

Дверь с усилием отошла, вышел сосед, через круглое плечо было перекинута полотенце, в одной руке – мыльница, в другой – зубная щетка и коробка с порошком «Хлородонт». Насвистывая с независимым видом, он двинулся в конец коридора.

Анечка подавила не то зевок, не то вздох.

– Ну что же, Костичек, до утра...

И, потрепав его волосы, вошла в купе.

Он остался, обдумывая ее слова. «Время бежит... вам не понять...» Нет, отчего же, милая женщина? Никогда так не думаешь о ходе времени, как в мои годы. Попробуй расслабься – не заметишь, как стал на десять лет старше. А все еще ничего не сделано, одни разговоры, все пребываешь на подступах к завтрашнему дню, когда жизнь начнет писаться набело. Нет, действовать! Необходимо действовать! Жизнь – это такой балет – еще пляшешь, а уж зовут на пенсию».

... – Проснувшись, Костик?

В окно их скворечника струился оранжевый солнечный свет, поезд, медленно набирая ход, отчаливал от неизвестной станции. Анечка только что поднялась, на свежих щечках ее розовели мягкие утренние полоски. Она стояла, запрокинув руки за голову, потягиваясь, сладко позевывая. С верхней полки, прикрывшись книгой, посверкивал глазами сосед, внизу возилась полная дама. Она тоже то и дело посматривала на гибкую Анечкину фигурку, шумно кряхтела и вздыхала.

– Вы спите еще крепче, чем я, – сказала Анечка, качая головкой.

– У меня была бессонница, – сказал Костик.

– Ах, бедняжка, – она засмеялась.

Позднее, воскрешая в своей памяти эту поездку, Костик легко обнаруживал в интонациях Анечки, в быстрых взглядах, в рассеянности, в принужденной веселости какую-то странную напряженность, казалось бы ей вовсе не свойственную. Но кто не крепок задним умом? Тогда он был другим озабочен – хотелось увериться, что его присутствие ей приятно и хоть самую малость волнует. В ту пору желание вызвать симпатию, «испытать обаяние», как шутил Славин, пожалуй, было одним из самых жгучих.

Когда поезд уже подходил к столице и пассажиры начали собираться – скатывать постели и укладывать вещи, Костик спросил ее, где она остановится.

– Это никак не любопытство, речь идет только о вашем адресе, – сказал он в той шутливой манере, которую принял с первой минуты. – Я, разумеется, вас провожу.

Анечка мягко улыбнулась и сделала неопределенный жест.

– Нет необходимости. Меня встретят. – И, не дожидаясь его вопроса, в свою очередь поинтересовалась: – А вы где будете жить? В гостинице?

– Вряд ли мне приготовлен номер, – усмехнулся молодой человек.

Он объяснил, что в Москве у него, в тихом Хохловском переулке, недалеко от Покровских ворот, живет родственница, тетя Алиса, «премилая благородная дама», которая его приютит.

Настала торжественная минута, и поезд, пыхтя, остановился у длинной выщербленной платформы. Костик и Анечка простились с розовым спутником и тучной соседкой, пробрались по узкому коридору сквозь встречающих и прибывших и вышли под московское небо, уже затушеванное летними сумерками. И сразу же на губах Анечки лучезарно засияла улыбка, бархатисто засветились глаза. Костик проследил ее взгляд и увидел, что к ним неспешно подходит высокий сухощавый полковник. Его негнущаяся фигура, из камня высеченный подбородок и обветренное лицо показались Костику странно знакомыми. В то же мгновение он узнал Цветкова, начальника Дома офицеров, переведенного в Москву год назад.

Он по-хозяйски взял вещи Анечки, кивнул Костику и пошел к тоннелю.

– До свидания, Костик, – сказала Анечка, – спасибо вам. Пусть у вас все состоится.

Ему показалось, что в эти слова она вложила больше, чем они значили, какое-то прощальное напутствие. Но ощущение было смутным и, очень возможно, явилось позже. Пока же Костик только гадал, откуда взялся полковник Цветков, а впрочем, по роду своих занятий

он мог знать и Анечку и Маркушу и быть с ними в дружеских отношениях при всей своей замкнутости и неприступности. Но долго раздумывать не ко времени, надо включаться в столичный ритм. Костик вырвался на вокзальную площадь и заспешил к метрополитену. Через десять минут он вышел на Кировской и еще через десять – был в Хохловском.

Алиса Витальевна встретила гостя водопадом восторженных междометий. Перемена, происшедшая в племяннике, – она приходилась ему не то двоюродной, не то троюродной теткой и никогда не проявляла желаний устанавливать точную степень родства, – эта перемена ее потрясла. Они не виделись несколько лет, и вот вместо мальчика предстал мужчина, цветущий, стремительный, с блеском в глазах («Слово чести, – сказала тетья, – в тебе есть некоторое брио»). Она ахала, охала, причитала («О, боже мой, персики и виноград, зачем это, могу лишь вообразить, сколько пришлось хлопотать Лидии, а впрочем, узнаю твою мать...»), спрашивала о его перспективах («Твоя эскапада имеет цель? Аспирантура? Но это чудесно! И так, ты переедешь в Москву? И твой отец тебя отпускает? Могу лишь вообразить, мой друг, каких это сил от него потребовало! И все же – достойное решение! Отважная юность должна дерзать. И ты не бездомен, у тебя есть кров. Не спорь, бога ради, это естественно, ну, хорошо, пусть на первых порах... Но, господи, как же ты изменился!..»).

Костик, который успел отвыкнуть от этой своеобразной лексики, проявившей редкостную устойчивость перед языкотворчеством грозных лет и сменяющихся поколений, не без удовольствия воспринимал ее благородную архаику. Тем более за последний год, как выяснилось, он притомился от клишированных оборотов, от канцелярщины, от жаргона, не говоря уже о южных блестящих и всяческих ходовых словечках.

Впрочем, и Алиса Витальевна была отнюдь не чужда современности. После того как она представила родственника своим соседям по квартире (за время, которое они не виделись, ее население обновилось), она спросила Костика с большим интересом: «Как ты нашел наш коллектив?»

Коллектив состоял из четы лингвистов, которые в местах общего пользования переговаривались по-французски, и мастера разговорного жанра, выступавшего на эстраде, существа ранимого и возбуждаемого, убежденного выпивохи, в часы похмелья впадавшего в мрачность.

Костику соседи понравились. Они вписывались в атмосферу. Вновь возникала возможность игры. Он подчеркнуто рекомендовался Костиком, и Алиса Витальевна, которая помнила об этой устойчивой – с детства – странности, охотно подыгрывала племяннику.

Точно так же пришлось ему по душе тихий Хохловский переулок, тенистый Покровский бульвар, перекресток, на котором весь день звенели трамваи, два кинотеатра – домашняя «Аврора» и представительный «Колизей», глядевший в зеркало Чистых прудов.

Нравилось решительно все. И прежде всего сам воздух столицы. Эти пять дней повергли Костика в состояние, близкое к эйфории. Уже ходить по улицам было Счастьем. Лето добавило ярких красок, вывело на тротуары толпы, вечерами не протолкнешься! Но это многолюдье притягивало. После студеных военных лет, меченных долгими расставаниями и прощаниями навек, была неосознанная потребность в этом ежевечернем общении. В те годы маленький волшебный ящик еще не стал властителем городских квартир, намертво приковав обитателей к своему гипнотическому экрану. Да и сами квартиры тоже не были молчаливыми твердынями, скорее они напоминали миниатюрные поселения с местом обязательных встреч – длинным заставленным коридором, где время от времени вдруг взрывался один на всех телефон на стене, испещренной различными номерами, наспех записанными карандашом.

Такой же была квартира в Хохловском – беззаконный, петляющий коридор, и днем и вечером – в полумраке, тусклая лампочка на шнуре, вблизи телефона – громадный сундук. На нем часто с меланхолическим видом посиживал мастер разговорного жанра в ожидании собеседников.

Костику в тот приезд было трудно сойтись с соседями покороче – дома он, в сущности, лишь ночевал. Да и то сказать, дел было много. Не сразу ему удалось встретиться с давним приятелем Ордынцевом, а когда эта встреча наконец состоялась, она оставила смутное впечатление. Все было как-то накоротке, в аудитории, перед лекцией. Полуприсев на подоконник, доцент торопливо прочел письмо и рассеянно оглядел Костика.

– Ну, как он там, Станислав Ильич? Оказывается, молодожен... Уж эти старые тихомышники... Чуют, где суп, а где компот.

Костик не знал, как ему реагировать на это странное одобрение самого профессора и его брака, он ответил неопределенной улыбкой. Впрочем, москвич уже не шутил, лицо его приняло озабоченное и мрачноватое выражение, громко вздохнув, он произнес:

– Дельце занозистое и заковыристое. На одного с сошкой – семеро с ложкой. А вас куда потянуло – в науку или в столицу? Как полагаете? – Хохотнул, но сразу же снова насунился: – Пишет о ваших дарованиях... Сильно вам там заморочили голову?

Костик, пожав плечами, сказал, что содержание письма ему неизвестно, что ж до способностей, с ним их обычно не обсуждали.

– Тем лучше, – усмехнулся доцент, – здесь вундеркиндам туго приходится.

Костик думал лишь об одном – как бы скорее попрощаться. Доцент как будто это почувствовал.

– В общем, надо помозговать, – сказал он. – Звякните перед отъездом. И привыкайте, это – Москва. Не к теще на блины вы приехали.

Все это было так непохоже на то, что ждал Костик от встречи, что, выйдя на улицу, он вдруг двинулся совсем не туда, куда собирался, и опомнился лишь через два квартала.

Дело было не только в сухом приеме. По рассказам профессора, московский коллега был весьма рафинированным господином с академической родословной – и папа доцента был доцентом, а дед уж точно – приват-доцентом, поэтому странный стиль собеседника, подчеркнуто свойский, грубовато-простецкий, производил непонятное впечатление. Было в нем нечто чужое, заемное, словно надел на себя человек взятую напрокат одежду. «Зачем понадобилось сдирать с себя кожу, менять потомственный тенорок и разговаривать на басах? Что все это значит?» – думал Костик.

Приятней прошло посещение печатного органа, пригревшего беднягу Пилецкого. Костик долго плутал по зданию, пока отыскал нужную комнату, в которой сидело два человека, один – средних лет, другой – пожилой. Тот, что помоложе, был тем, кого он искал.

– О, дары юга! – воскликнул он с живостью, вертя бутылку в разные стороны, точно исследуя содержимое. – Садитесь, сейчас я прочту письмо.

Он быстренько пробежал листок и, сверкнув дегтярными хитрыми глазками, сказал понимающе:

– Томится духом... – Подмигнув пожилому, он пояснил: – Волнуется в связи с переменами...

– И этот – туда же... – вздохнул пожилой.

То был подержанный брюнет с сединой, с сивой щетиной на подбородке. Окинув Костика опытным взглядом много повидавшей совы, он спросил:

– Вы сослуживец Пилецкого?

– Нет, но мы – одного с ним цеха, – ответил Костик.

– Значит, из наших? – усмехнулся пожилой человек.

Разговорились, и между делом Костик рассказал о себе, о своих намерениях и прожектах.

– «Им овладело беспокойство», – прокомментировал знакомый Пилецкого.

Костик согласился:

– Пожалуй, вы правы. Чем больше вдумываешься, тем понятнее, что я затеял передислокацию не оттого, что мне там худо, а оттого, что слишком уютно. Незаметно выработался свой

ритм, в какой-то степени убаюкивающий. Иной раз кажется, что живешь под милую колыбельную песенку.

Он говорил, не вполне понимая, с чего это он так доверителен, даже интимен с почти незнакомыми, впервые встреченными людьми. И все же инстинктивно он чувствовал, что это единственно верный тон, если уж он говорит о себе. Чем еще оправдать внимание двух столичных аборигенов, пробивших дорогу своими перьями, к никому не ведомому провинциалу с не обсохшим на губах молоком? Костику долго еще предстояло преувеличивать роль и значение всех людей с московской пропиской.

Знакомый Пилецкого слушал, посмеиваясь, а пожилой журналист поглядывал словно из некоего далека. Один раз Костику показалось, что собеседник устало дремлет, но тут же он понял свою ошибку, встретясь с прицельным совиным оком.

За день до возвращения на Центральном телеграфе Костик неожиданно столкнулся с Анечкой.

– Однако ж! – воскликнул он чуть театрально. – В Москве да встретиться! Просто чудо!.. На сей раз Анечка не ответила привычной улыбкой, только кивнула.

Он спросил ее:

– Когда же назад?

– Я задерживаюсь, Костик, – сказала Анечка, и он почувствовал, что продолжать разговор ей не хочется.

Все же он спросил:

– Ничего не нужно передать Маркуше? Послезавтра я еду...

– Я написала, – ответила Анечка.

Они простились. От этой встречи остался неприятный осадок. Почему-то было не по себе. Точно Анечка отказалась не от его услуг, а от него самого.

Дурное настроение лишь усугубилось после его звонка доценту. Тот сказал, что не может сильно порадовать – положение весьма хреноватое. Одним словом, речь может идти лишь о заочной аспирантуре. Ежели молодой гасконец останется на солнечном юге, его зачисление вероятно. Но, коли он твердо вознамерился стать москвичом, предстоит позаботиться о предварительном трудоустройстве.

Это был, как говаривал в таких случаях Эдик Шерешевский, полный бекар. Непонятно, на что теперь можно рассчитывать. И тут он вспомнил о старом знакомом отца.

Лишь в состоянии полной растерянности можно было набрать этот номер, который он записал для того, чтоб ненароком не обидеть отца. Старый знакомый оказался дома и попросил его заглянуть. В тот же вечер Костик к нему отправился.

Он не без труда разыскал дом-ветеран на Разгуляе, поднялся по грязноватой лестнице, остановился перед дверью, украшенной почтовыми ящиками, и четырежды позвонил. Долгое время было тихо, потом послышались шаркающие шаги, дверь открылась, немолодая женщина в шлепанцах провела Костика по коридору, ввела его в комнату. Он только ахнул – в кресле сидел пожилой журналист.

Когда Костик возвращался домой – путь до Хохловского был не близкий, – он все прокручивал, виток за витком, цепочку событий и совпадений и находил в ней нечто фатальное.

В самом деле, не окажись доцент столь бронированным молодцом, не возникла бы необходимость в звонке, которому он не придавал значения. Не уйди на вполне заслуженный отдых заведующий корреспондентской сетью, не явись неведомый миру Чуйко, не будь Пилецкий таким паникером, не было бы никакой нужды посетить редакцию почтенного органа. А войди он в нужную ему комнату на пять минут раньше или позже, не столкнулся бы он со старым газетчиком, который забрел в нее по пути (это выяснилось из дальнейшей беседы). Между тем Костик был твердо уверен, что все решила дневная встреча, а не давнее знакомство отца.

Ибо днем он понравился, произвел впечатление, затронул в душе пожилого зубра какие-то примолкшие струны, и в том что-то ожило, разожглось. Когда уже под вечер к нему, размягченному, элегически размышлявшему о том, как тяжек всякий дебют, неожиданно воззвал по телефону отпрыск забытого однокашника, он потому и не отмахнулся, не сослался на срочную командировку, а сразу же пригласил к себе. И тут-то последовало открытие: дневной и вечерний – одно лицо!

Особенно поднимало дух то обстоятельство, что в редакции он пробыл от силы четверть часа. И однако же – ниточка протянулась. Знак добрый – что-то все же в нем есть!

Итоги визита весьма обнадеживали. Хозяин благословил переезд. Житейский опыт, тихо мерцавший в его многомудрых совиных зрачках, придавал словам особую вескость. Он думает, что сможет помочь. Место Костику, место под солнцем, великий город, видимо, выделит. Гостеприимство Алисы Витальевны решает многое – прежде всего проблему временной легализации. А там, как известно, видно будет! Надо думать, что молодой человек, даровитый и энергичный, как-нибудь выстоит, не пропадет. Не он первый, не он последний.

Перед сном Костик поведал тетушке об историческом разговоре. Рассказывать было одно удовольствие. Тетя не слушала, а внимала. Сцепив свои костяные пальцы, прижав их к едва заметной груди, она встречала каждое слово возгласом, вздохом, согласным кивком. Когда он кончил, она его обняла.

– В добрый час, в добрый час, я рада безумно, – она коснулась губами лба племянника, – мне кажется, звезды к тебе расположены.

Несмотря на все его возражения, она решила поить его чаем, а Костик меж тем подошел к окну. Было тихо, Хохловский уже дремал, лишь доносились шаги прохожего и вызывал последний трамвай. За дверью супруги-лингвисты чуть слышно переговаривались по-французски, в коридоре мастер разговорного жанра неумоимо терзал телефон в бесплодных поисках понимания.

И все это – поздний трамвай, шаги, приглушенная французская речь, которая, по мысли супругов, обеспечивала конфиденциальность беседы, даже горькие жалобы артиста – все вместе наполняло Костика светлым умиротворенным чувством, дышало благостью и покоем наконец обретенного очага.

Июль кончался, и ближе к ночи становилось уже заметно прохладней, ветер с Покровского бульвара иной раз заставлял и поежиться. Где-то, в одном-двух перегонах, была московская зябкая осень, но сейчас о ней не хотелось думать. Все еще были крупны и ярки расположенные к нему звезды.

Можно было и уезжать. Костик сердечно простился с соседями, которых готов был принять в свое сердце, трижды расцеловался с теткой. Она взволнованно прошептала:

– До скорой встречи. Храни тебя небо. – И добавила: – Соблаговоли известить за неделю о дне своего прибытия.

Костик заверил, что безусловно соблаговолит и известит.

* * *

Через три дня он уже рассказывал родителям о всех перипетиях поездки. Отец был явно горд, что в итоге самым действенным оказался им предложенный *вариант*. Вновь и вновь он расспрашивал о старом приятеле, повторял растроганно и умиленно:

– Он всегда был отзывчивым, славным малым. Но то, что он остался таким... это случается не так уж часто... Я непременно ему напишу...

Костик подумал, что это письмо должно пройти сквозь его цензуру – не было бы слишком экзальтированным! Он представил себе, как тлеет усмешка в утомленных глазах его покровителя, и заранее покраснел.

Но радовался отец недолго. То, что сыну помог именно он, доставляло большое удовлетворение, но означало одновременно, что отъезд Костика был решен. Оживление быстро его покинуло, он замолчал, а на вопросы отвечал не сразу и невпопад, с грустной виноватой улыбкой.

Да, отъезд был решен, быть может, поэтому тот август перед броском на север лучился таким теплом и светом – ни единого тоскливого дня! Будто родина гладила напоследок жаркой ладонью блудного сына, будто нашептывала любовно: помни, как было тебе хорошо.

Яков отсутствовал – он на неделю уехал в район, что было досадно, не терпелось рассказать о поездке. Костик поговорил с Пилецким, сообщил, что выполнил поручение, неведомо почему умолчав, как отразилось посещение редакции на его собственных делах.

Несколько раз он звонил Маркуше – никак не мог поймать его дома. В конце концов разговор состоялся. Маркуша был, как всегда, сердечен, письмо Анечки он уже получил. Он долго благодарил Костика за обязательность и доброту.

В газете шла меж тем своя жизнь. Скопилась целая пачка писем. И все серьезные, деловые, требовавшие таких же реакций. Было, правда, одно послание о репертуаре кинотеатров, которое поначалу настроило на привычный лад, но как раз оно неожиданно стало достоянием гласности. Многоопытный Духовитов вынес его на суд редактора, и тот решил его обнародовать. Геворк Богданович объявил, что давно подбирается к кинопрокату и что это письмо обнаружило в авторе «государственно мыслящего человека». Итак, оно было опубликовано и получило горячую поддержку Ровнера, который в очередной эпистоле заодно раскритиковал итальянского режиссера Де Сантиса.

Дважды Костик встречался с Жекой и отправлялся с ней на бульвар – ее сестра умудрилась схватить простуду. Теперь эти сладкие испытания воспринимались совсем иначе – так недолго оставалось быть вместе. О пребывании в Москве Костик рассказывал Жеке походя, небрежно, без особых подробностей. О предстоящей поездке – и того меньше, словно о чем-то второстепенном. И Жека мало его спрашивала, похоже, что она избегала этой обоюдоострой темы. Оба отлично все понимали и, не сговариваясь, оберегали отпущенные им вечера.

Вернулся Славин. Едва лишь Костик услышал знакомый виолончельный голос, он почувствовал, как обрел устойчивость. Оказывается, набег на столицу и предстоящее перемещение заметно лишили его равновесия. Но вот с ним Яков – и стала разматываться вся путаница мыслей и чувств, вспомнилось детское ощущение – карусель замедляет свою круговерть, вот она наконец замирает, в мире установился порядок.

– Что же, назначим рандеву? – спросил Славин.

– Когда и где?

– В половине девятого у Абульфаса. Форма обычная. Треугольная шляпа и – естественно – серый походный пиджак.

Костик, смеясь, повесил трубку. Игра продолжается. Какая радость – присутствие Якова в его мире. И как однажды вдруг станет пусто! Только сейчас Костик понял, что прежде всего в Москве предстоит испытание одиночеством – кто знает, сколько оно продлится. Во всяком случае, из всех экзаменов этот будет самым нелегким.

Вечер удался по всем статьям. Воздух был густ и сладко дурманил. Веяло долетавшей моряной, а пахло сразу и влажным песком, и поджаренным мясом, и кофейными зернами. Абульфас превзошел себя самого. Он был в приподнятом настроении. Красавица Люда благополучно оправилась от внезапного недомогания и царственно двигалась между столиками.

Славин спросил ее:

– Оклемались?

– Нормалёк, – откликнулась Люда.

– Еще лучше стала, – сказал Костик.

– Слов нет, одни буквы, – одарила улыбкой, показав крупные рафинадные зубы.

– Докладывай, друг мой, – сказал Яков. – Изложи свои впечатления. Побывал ли ты, любезный, у Яра? Там соколовский хор когда-то был знаменит, насколько я помню.

– Я был на ансамбле песни и пляски в саду Баумана, – сказал Костик.

И неторопливо поведал про то, как сложились его дела. Рассказал и о тех, с кем столкнула столица. Славин признал поездку удачной.

– В сущности, твой прохиндей доцент, с его демократическим стилем, не так уж неправ. Довольно учиться. Надо, господа, делать дело. Посему земляк твоего отца, который – подобно мне – рассиропился, увидев провинциальный цветок, возможно, твой истинный благодетель. А для науки ты не погиб. Можешь ее постигать заочно.

– В том-то и суть, что сам не поймешь, чего хочешь, – согласился Костик. – Оттого и дергаешься. Но ведь на двух свадьбах не пляшут.

– Наконец-то мы съели яблоко и добрались до червяка, – усмехнулся Яков. – А что до песен и плясок, нам все сейчас растолкует Эдик.

Костик обернулся и увидел Шерешевского. Музыкант шествовал по дорожке, с достоинством кланяясь своим знакомым. Круглые выпученные очи, как всегда, выражали не то подозрение, не то затаенную обиду. Выражение это не соответствовало его неизменной рассудительности и существовало вполне автономно.

– Да, это он, – сказал Костик, будто не сразу узнал трубача. – О, как ты красив, проклятый!

Эдик был шокирован.

– Это вы так здороваетесь? Ну и манеры у вас... Я поражаюсь.

– Не обижайтесь. Это стихи.

– Это – стихи?

– Не мои. Одной женщины.

– Ах так? На женщин это похоже. Нагрубят и не поперхнутся. Такая мода теперь пошла. А кто она?

– Некая Ахматова Анна. Знакомы?

– Бог миловал. Люданчик, солнце мое, я, пожалуй, на минуту присяду. Захвати чего-нибудь на мою долю. – Опустившись на стул, он тяжело вздохнул и неодобрительно заметил: – Слишком много читаете, Котик.

– Да, его привлекает сам процесс, – сказал Славин. – Как героя одной эпопеи.

– О рыбалке я не могу читать, – возразил Костик. – Клонит к подушке.

– Ничего удивительного, – сказал Эдик. – Перегружаетесь – вот и клонит. Подумали б о своем здоровье. Я и сам не прочь в свободное время почитать книгу. Но чтоб так... запоем...

– Одно удовольствие вас слушать, – сказал Костик, – все так разумно.

– Что правда, то правда, – подтвердил Славин, – у него каждое слово – на вес золота.

Люда расставила перед артистом скромные дары клуба дорожников. Она сияла от удовольствия.

– Вот так-то, мальчики дорогие, – сказала она с хозяйским радушием, – рядком, ладком, да еще с огурчиком.

Славин только руками развел:

– Хорошо, Эдик, жить у вас за пазухой.

Слова Якова Эдику были приятны. Они утверждали его могущество. Задержав руку Люды в своей ладони, он нашептывал опасные речи, не меняя, впрочем, своей обычной лениво-медлительной интонации:

– Нет, вы посмотрите на эти глаза, на эти зубы, где ты взяла их? Сколько тебя не было? Целую вечность... Можно так со мной обращаться? Погляди, от меня только тень осталась...

Это было явным преувеличением. Эдик был все так же кругл и пухл и меньше всего походил на призрак, но соответствия истине от него не требовалось. Люда внимала этой мело-

дии с необычайным удовлетворением. Было видно, что она воспарила в неведомую волшебную сферу. Но чем больше сияния излучало ее зарумянившееся лицо, тем больше мрачнело лицо Абульфаса. Из коричневого оно стало черным.

– На чужую кровать рот не разевать, – пробурчал он, изрядно меняя текст, но сохраняя рифму и смысл.

– Нет, вы слышите? – воззвал музыкант. – Он же открыто бесчестит женщину.

– Абульфас, не психуй, – засмеялась Люда.

– Я сказал, он пусть слушает. Слышал звон – иди вон.

– Еще его слушать! – фыркнул Эдик. – Не много ли чести?

– Не плюй колодцем, – посоветовал Абульфас. – Цыплят по восемь считают.

– Нет, каков?! Он еще угрожает!

– А-буль-фа-сик!.. – повторила Люда, самую малость повысив голос, но от столика отошла.

Кофеварщик загремел черпаком и на сей раз не произнес ни слова.

– Просто черт знает что, – возмутился Эдик. – Называется, культурный очаг...

Мимо их столика пробежал директор культурного очага, как всегда нахмуренный и чем-то расстроенный. Завидев газетчиков, он улыбнулся, а Эдику небрежно кивнул. Различие объяснялось тем, что первые были почетные гости, а Эдик был здесь свой человек. Но трубач, не обретший еще равновесия, почувствовал себя задетым.

– Вы только взгляните на его лицо, – сказал он, – точно нанюхался помета. Распустил работников до последней степени и бегаёт как ни в чём не бывало. Человеку доверили такую площадку, а он её довел до развала. Выступить здесь стало одно наказание. Каценельсон сказал, что взорвет их всех, и на этот раз я его понимаю. Сцена наполовину сгнила, за кулисами дует из всех щелей. Вокалисты простуживаются, едва не плачут. Я поражаюсь, как все это терпят. Надо и мне вам написать.

– Давно уж пора, – сказал Костик. – А то перебираешь конверты и все думаешь: что ж он, милый, не пишет?

– Нет, серьезно. Газета – большая сила. О кинотеатрах вы мощно выступили.

– Ровнер тоже одобрил, – сказал Костик.

– Золотой человек, – Славин растрогался. – Поддержал?

– Снимает с Де Сантиса стружку. Не оставил на нем живого места.

Эдик произнес с уважением:

– Здорово. Что ж вы будете делать?

Костик задумчиво пожал плечами:

– Перешлю его письмо режиссеру. Пусть подумает о своем поведении. Авось опомнится.

Сам виноват

Эдик кивнул.

– Что верно, то верно. Слишком много они себе позволяют. Я и сам иной раз не прочь посмотреть какой-нибудь зарубежный фильм, но все-таки очень много цинизма. Чувствуешь себя оскорбленным. Должно же быть что-то святое.

– Хорошо говорите, – сказал Костик. – Почти так же, как Леокадия пишет. Сходно мыслите.

Эдик сказал:

– Вы льстец!

Но чувствовалось, что он доволен.

Славин спросил:

– Кстати, что с Леокадией? Нет ли, часом, новых свершений?

– Как не быть, – сказал Костик со вздохом.

– Надеюсь, ты больше её не преследуешь?

Костик с виноватой ухмылкой покаялся. Вновь он не удержался и привлек внимание сослуживцев к очередному диаманту, вышедшему из-под пера публицистки. Разумеется, надо было не заметить, по-королевски пройти мимо, именно так поступил бы Яков, но искушение поделиться тихой радостью со сподвижниками оказалось непреодолимым. Бесенок, не оставивший Костика, попутал его и на этот раз.

В субботнем номере был помещен очерк прекрасной Леокадии о талантах, зреющих в самодеятельности. Поводом для ее раздумий послужил недавний городской смотр. С присущей ей благородной экспрессией она размышляла о жажде людей не только воспринимать искусство, но и самим его создавать. Именно эта их потребность полнила автора оптимизмом. Родник не иссякнет до той поры, пока щедры подпочвенные воды. Общие рассуждения она подкрепляла живыми примерами и между прочим упомянула, каким «трепетным, неподдельным чувством была согрета каждая фраза классического романа Рахманинова «Полюбила я на печаль свою». С этим произведением выступила швея В. Кузичева, мать шестерых детей».

Само собой, Костик поставил выбор романа в тесную связь с многолетностью исполнительницы. В который раз повторилось все то же – Леокадия плакала, ее утешали, а поэт Паяльников пришел к Духовитову с предупреждением, что, если Костик не уймется, он будет с ним объясняться лично.

– Бог тебе судья, – сказал Славин, – чего ты хочешь от бедной женщины? Она мечтает сделать нас лучше.

Эдик тоже не одобрил Костика. Статьи Леокадии он читал регулярно, их воспитательный пафос ценил, но, судя по его настроению, был лишен просветительских иллюзий.

– Люди сильно испортились, – сообщил он. – Нет устоев, не говоря уж о принципах. Что вы скажете о вашей Анечке Рыбиной?

– Почему – моей? – улыбнулся Костик.

– Ну, вы же ее сопровождали. Вы знаете, что она осталась в Москве?

Нет, этого Костик не знал, хотя известие не удивило его. Все сомкнулось и стало на место – ее дорожная задумчивость. Курский вокзал, молчаливый полковник, последняя встреча на телеграфе.

Оказалось, что связь Цветкова и Анечки не была тайной для горожан. Тянулась она уже много лет и теперь наконец обрела узаконенность. Казалось бы, Эдик давным-давно мог намекнуть об этом Костику, в особенности перед его поездкой, однако же вдруг проявил деликатность, без которой он легко обходился. В чем тут дело? Должно быть, все объяснялось его простодушным неудовольствием, когда женщина не его выбирала. Даже в том случае, если он сам не имел на нее никаких видов. Привыкнув себя ощущать фаворитом, он стал болезненно самолюбив. Он дал понять, что знакомство с Маркушей, коллегой и собратом по музыке, исключало какой-либо интерес к Анечке, будь она хоть раскрасавицей. С таких же позиций моралиста он отзывался и о Цветкове, хотя признавал, что порой мужчина попадает в сложное положение. В его жизни был неприятный случай, о котором тяжело вспоминать.

– Женщины ни с чем не хотят считаться, это их характерная черта, – жаловался Эдик, в его круглых очах мерцала устойчивая обида. – Помню одну, довольно красивую, с невероятным темпераментом. Она обиделась на моего друга. Пристала: как ему отомстить? Я для шутки ей говорю: с первым встречным. Она говорит: вот ты им и будешь. Я очень мягко ей объяснил, что ее супруг – мой добрый товарищ, что это противоречит моему кодексу, но если женщине что-то втемяшится, ее переубедить невозможно. На этого бедного человека я просто не мог поднять глаза. Хотя надо сказать, когда он узнал, тоже раскрылся не в лучшем виде. Не хватило интеллигентности. Вообще-то, он стоил своей жены. Но я ему, представьте, сочувствовал. Такой, знаете, несчастный характер. Нет уж, при моих убеждениях такие истории – ни к чему.

Славин, а вслед за ним и Костик заверили его в солидарности и безусловном понимании. Яков высказал предположение, что ситуация Цветкова ни в какое сравнение не идет с той, в которой оказался трубач.

– Ничего общего, – подтвердил Эдик. – Поэтому я его осуждаю. Маркуша, надо сказать, убит. Для него это полная неожиданность. Говорят, его узнать невозможно. Не ест, не пьет, ходит как призрак. Его я тоже не одобряю. Есть от чего сходить с ума! Я и сам могу сильно увлечься женщиной, бывает, в свободное время думаешь: а хорошо бы ее увидеть... Но чтобы так потерять лицо?! Нет, это никуда не годится...

– Не расстраивайтесь, – сказал Славин заботливо, – слишком близко вы все принимаете к сердцу.

– Так оно и есть, – согласился Эдик.

– Ничего, – ободряюще заметил Костик. – Еще не родилась та сила, чтоб Шерешевского скосила.

Эдик взглянул на него просветленно:

– Сейчас сочинили? Прямо сейчас?

– Вдохновение, – скромно сказал Костик.

– Запишите мне это в книжечку. Сами. И поставьте сегодняшнее число. Вот это стихи! Это я понимаю! Не бабская базарная брань. «Красив, проклятый...» Спасибо за такой комплимент. Не обругав, они не похвалят.

* * *

Костика позвонил Пилецкий. Он сообщил, что нынче вечером просит Костика «его почтить». Какое-нибудь семейное торжество, упаси боже, соберутся свои, самые близкие, так, может быть, вторжение не вполне уместно, нарушит привычную атмосферу, перестаньте, типун вам на язык, когда-то ж вам надо побывать в моем доме, все будут счастливы, и жена, и дочь, и все остальные, кстати, будет и Яков, ну что же, спасибо за приглашение, ах, боже мой, что так официально, давно уже надо было вас выгнать, не перед самым вашим отъездом, что делать, великие идеи обычно запаздывают, не говорите, все правда, так оно и происходит, ждем вас к восьми – к половине девятого, записали адрес, записал, буду.

Повесив трубку, Костик подумал, что, в сущности, он рад приглашению. С детских лет он любил эти сборища. Сначала бездумно, как жеребенок, потом он открыл их высший смысл. Это последнее убеждение было шуткой только наполовину. Люди наряжаются, чистятся; наводят лоск и макияж, спешат в хорошо знакомый дом, где видят давно знакомые лица и слышат давно знакомые речи, пусть не ждет их сверканье интеллектов, им эти встречи необходимы. Бывает и другой вариант – люди мало знакомы или незнакомы вовсе. Тем любопытней и завлекательней, начинает смахивать на приключение. Конечно, иной раз эти застолья наводят и на грустные мысли – разве нельзя представить жизнь, скажем, как тысячу вечеринок? Тогда они, как верстовые столбы, показывают, что путь все короче. И все же от каждой чего-то ждешь – чем черт не шутит, вдруг что-то будет?

И на сей раз Костик весь длинный день пребывал в приподнятом настроении, будто рядом играл духовой оркестр.

Вот и вечер, уже наполнились светом молочные чаши фонарей и внешность города преобразилась. Он стал загадочней, что-то сулит. Напоминает тебя самого – побритого, причесанного, в вечернем костюме.

У перекрестка сидел лохматый чистильщик, что было кстати, джентльмен может явиться в не глаженной рубашке, но туфли его должны сиять.

Дверь отворил высоченный парень с продолговатым смуглым лицом, он поспешно кивнул и крикнул куда-то, себе за спину: «Матвей Михалыч, к вам!» И тут же в прихожую, выста-

вив вперед пухлые ручки, выкатился Пилецкий: «Костик, наконец-то, я очень рад». Подвел к круглолицей даме с челкой, надежно скрывшей ее лоб, она величественно наклонила голову: ах, вот он какой, очень приятно.

– Он – человек больших способностей, – сказал Пилецкий, – он собрался в Москву.

Костику предстала квартира, в которой и должен был жить Пилецкий. Ему показалось, что он уже был в этой комнате с длинным столом посередине (сегодня уставленным питием и снедью), с еще одним столом, особого назначения, за ним Пилецкий строчит свои информации, с тахтой у стены, на которой Пилецкий, должно быть, вкушает послеобеденный сон.

Впрочем, может быть, и не здесь. В глубине открылась еще одна комната, там сияло – подобно снежному насту на солнце – семейное ложе под белейшим покрывалом. Пилецкий там мог почитать и днем, если есть на то воля хозяйки дома.

Оглянувшись, Костик обнаружил и третью комнату, назначение коей открылось в тот миг, когда Пилецкий подозвал темноглазую девицу, худенькую и длинноногую, но безусловно напоминавшую достойную Любовь Александровну, подругу хлопотных дней Пилецкого.

– Это Инна, – сказал Пилецкий, любуясь ею и гордясь собой, – будущий Ле Корбюзье.

Из чего следовало понять, что Инна учится на архитектурном.

– Костик – наша большая надежда, – сказал Пилецкий своей наследнице, – он скоро переезжает в Москву.

Костик подумал, что, между прочим, если б не это обстоятельство, с будущим Ле Корбюзье не мешало бы познакомиться несколько ближе, Инна была, безусловно, мила. Однако высокий молодец, который впустил Костика в дом, по всей видимости, обосновался здесь прочно. Он тоже был представлен – Виталик, приятель Инны, по профессии химик, стало быть, будущий Лавуазье. Чувствовалось, что химику нравилось, хотя одновременно смущало, его легальное положение кандидата в мужья. «Светлая голова», – шепнул Пилецкий. Любовь Александровна спросила с удовлетворенной улыбкой:

– Ничего ребенок?

И, когда Виталик с Инной уединились в углу, добавила:

– Он у нас как родной.

Наступила очередь лысого старичка с мягко плещущими ушами, то был дядя хозяйки, Казимир Павлович, плановик, достигший пенсионного возраста. Ему также было сообщено, что Костик нацелился ехать в столицу, в которой, кстати, на днях побывал. Эти факты были постепенно доведены до сведения и всех остальных; очевидно, по мнению Пилецкого, они добавляли Костику веса.

Должно быть, хозяин знал, что делал. Гости посматривали с интересом, а один из них, худощавый мужчина с аккуратным пробором и щеголеватыми усиками под гоголевским носом – он был представлен как Виктор Арсеньевич, – ощупал Костика колючими глазками с непонятной для того подозрительностью.

Зато Казимир взглянул на гостя со странной преданностью и, с усилием привстав, потряс его ладонь обеими руками.

– Ну, как Москва? – спросил он робко. – Кипит?

Костик не успел ответить. Ему протягивал руку Яков.

– Я слышан о вас, – сказал он учтиво. – Молодой человек больших дарований, перебирающийся в Москву? Ничего не напутал?

– Нет, не волнуйтесь, – сказал Костик великодушно. – Именно так обстоит дело. Вы замечательно информированы.

Между тем появились новые гости, и после неизбежного протокола все наконец уселись за стол. Любовь Александровна постаралась, и все оценили ее усилия не только шумными похвалами. Особым успехом пользовалась долма – маленькие зеленые подушечки в виноградных листьях, с мясом, с чесноком, политые сметаной. Понравилось и пити – мясо с томатом

и горохом; наконец, общий восторг вызвал плов с машем – мелким, почти невесомым лоби. Вечер был затеян с размахом и явно таил большую угрозу скромному бюджету Пилецкого, но, видимо, он закусил удила. Мать и дочь едва успевали вносить новые блюда и тарелки. Виталик лихо открывал бутылки, под одобрительные реплики он ненавязчиво демонстрировал мужественность. Пилецкий поднял тост за гостей, и в том числе за того, кто первый раз в этом доме, даровитого и полного сил, которого, нет никаких сомнений, по достоинству оценит столица.

Все радостно присоединились к хозяину, лишь Виктор Арсеньевич ограничился тем, что корректно приподнял свой фужер. Инна весело стрельнула глазенками и осведомилась:

– Вам нравятся северянки?

– Выборочно, – сказал Костик.

Этот ответ восхитил Казимира. Он взглянул на Костика с еще большей преданностью.

Тосты следовали один за другим. Застолье стало еще оживленней. Говорили о самых разных предметах, но больше всего о тех, кто прописан в славном Лагере Преуспевших, – о живописцах и композиторах, о руководящих работниках, о журналистах и гроссмейстерах, об артистах, об академиках, их супругах, прошлых, нынешних, будущих. Голоса сливались в единый хор, полный интереса к солистам. Пожалуй, только Инна с Виталиком почти не принимали участия в перетирании громких имен, и Славин, который всегда помалкивал, если общество было многолюдным.

Незаметно разговор перекинулся на вопросы глобального порядка. Пилецкий высказал свое суждение. Виктор Арсеньевич, слегка постукивая костяшками пальцев, внес коррективы. Выяснилось, что он лектор-международник и в этом качестве имеет решающий голос. Тем не менее Костик его оспорил, скорее из духа противоречия, чем из пылкого стремления к истине. Виктор Арсеньевич помрачнел. Недаром этот молодой человек с его самоуверенным взглядом не понравился ему с первой минуты. Среди приятелей и знакомых Виктор Арсеньевич занимал почетное место идеолога и не намеревался его уступать. Уже давно за этим столом была принята стабильная формула «Виктор Арсеньевич полагает». Его авторитет был незыблем для всех собравшихся в этом доме. И вот явился наглый юнец, осмелившийся посягнуть на устои.

Отпор был незамедлительно дан, однако ж Костик и тут не унялся. Стойкость его привела в восторг простосердечного Казимира, которому, по его представлениям, выпало счастье наблюдать истинную битву гигантов. Плещущие уши убыстрили движение, а глаза излучали энтузиазм. Виктор Арсеньевич весьма выразительно посмотрел на забывшегося неопфита. Он был возмущен таким ренегатством.

Неожиданно в спор вмешался Славин, рассказал какую-то байку, и вовремя! Все долго и со вкусом смеялись. Атмосфера заметно разрядилась.

Как на грех, кто-то вспомнил заметку хозяина о подвиге одного водителя, который вез из района муку. Дорога пролегла вдоль озера, и, когда он резво вылетел на берег, машину на повороте рвануло, плохо укрепленный борт отошел, и один мешок свалился в воду. Тут водитель затормозил и, не слишком раздумывая, сиганул в студеную мартовскую волну. «Ничего себе купанье», – заметила Любовь Александровна. На счастье, вдруг появились люди, они и вытащили шофера, когда он уже совсем захлебывался под тяжестью спасенного мешка. Пилецкий съездил в район, повидался с героем, и спустя два дня его репортаж украсил собою третью полосу. Все гости наперебой уверяли, что прочли последнее произведение Пилецкого с необычайным интересом, что в своем роде это была высокохудожественная миниатюра, портрет героя на столь малой площади воплощен с поразительным мастерством, а впрочем, давно известно, что краткость – не то старшая, не то младшая сестра таланта. Пилецкий принимал похвалы со скромным достоинством и, как бы отводя их, сказал, что сам парень уж очень хорош.

С этим никто из гостей не спорил, но было замечено, что, не будь Пилецкого, славный парень остался бы прозябать в неизвестности, а теперь его знают от моря до моря.

Костик и сам не смог бы ответить, какой бес тянул его за язык, какой зверь его укусил в тот вечер? Ощутил ли вдруг неожиданно-негаданно в своей загадочной душе дискомфорт или просто выпил лишнюю рюмку, но только вновь его понесло.

Он сказал, что лишь чудо спасло шофера, ведь прохожие могли запоздать, и что мешок не стоил подобной жертвы. Лучше б водитель следил за кузовом.

Эти слова повергли Пилецкого в состояние глубокой растерянности. Густо краснея, он лишь смотрел страдальческим волооким взором, словно молил протянуть ему руку. Казалось, теперь тонул он сам.

Виктор Арсеньевич пришел на помощь. Тем более что явилась возможность поставить молокососа на место. Он веско сказал, что истинный подвиг отнюдь не всегда целесообразен, в такую минуту не раздумывать нужно, а уметь пожертвовать своей жизнью без колебания и промедления, порыв прекрасен, а здравый смысл – псевдоним обывательской бескрылости. Вспомним про сокола и ужа. Пилецкий смотрел на него с благодарностью.

– Виталик, потише. – Любовь Александровна покосилась на будущего зятя, что-то нашептывавшего Инне в ушко.

Это была награда оратору. Его речь должна была звучать в тишине.

Никогда бы Костику не пришло в голову, что он ощутит такую потребность мгновенно вступить за здравый смысл. Несколько громче, чем это следовало, он сообщил, что мать-природа дала нам мозг, дабы он трудился. Что «не раздумывать» – противоестественно и, значит, безнравственно. Что было б уместно, если бы его оппонент соизволил поинтересоваться, есть ли у водителя дети.

Он понимал, что спор беспредметен. Высокие стороны плохо прислушивались одна к другой, и вполне возможно, что при случае, вчера или завтра, они защищали бы те редуты, которые атакуют сегодня. Вряд ли они добивались истины. Искало выход их раздражение, возникшее уже при знакомстве. Пилецкий попал как кур в ошип. Должно быть, он и не подозревал, что его творчество может вызвать такие страсти. Вот уже три десятка лет писал он примерно одно и то же и был человеком без претензий. Костик увидел глаза Якова и устыдился. Черт знает что! Не лучшим образом он ответил на хлебосольство и гостеприимство.

– Все это, разумеется, не имеет отношения к работе Матвея Михалыча, – сказал он с некоторым усилием. – Он неизменно – на высоте.

Эта фраза всех успокоила. Любовь Александровна облегченно вздохнула. Пилецкий, сияя, как геликон, поднялся со своего стула. Встал и Славин, он подмигнув Костику, явно одобряя его отступление.

Виктор Арсеньевич с заметной досадой погрузил свой рубильник в стакан с чаем. Своевременная ретирата Костика оставила за ним последнее слово. А значит, как чаще всего происходит, и поле боя. Подошел Яков.

– Знаешь, что я вдруг вспомнил? – спросил он. – Видел у одного букиниста приложение к «Ниве». Занятная вещь! Там был раздел «Русский политик». На заставке – два пожилых господина, у одного в руках – газетный лист. Сразу видно, что собеседники обсуждают мировые проблемы.

– Один пожилой господин – это я? – хмуро осведомился Владимир.

– Само собой, – веселился Яков. – Тот, что с газетой. Хотел бы я знать, чем это ты был так озабочен? Боснией и Герцеговиной? Младотурками? Речью Извольского?

– Ладно, довольно меня топтать, – попросил Костик. – Я уж понял, что сваял дурака. Вдруг завелся с пол-оборота.

– Холоднокровней, сынок, – сказал Славин. – Условие общения – сдержанность.

– Сдержанности в тебе навалом, а вот общаться не очень ты рвешься.

– Что подделаешь? – усмехнулся Славин. – Устаешь не только выяснять отношения, устаешь и от самих отношений.

Рядом остановился Пилецкий.

– Все беседуете, Аяксы? Еще не наговорились? Костик, я очень рад видеть вас в своем доме. Просто жаль, что вы уезжаете.

– Самому жаль, – сказал Костик. – У вас славный дом. И семья – под стать.

Пилецкий умиленно вздохнул.

– Для них и живу.

Костик подумал, что на сей раз слова соответствуют истине. Можно только вообразить, сколько было положено им трудов, чтобы создать для Любови Александровны и стройненькой Инны эту крепость, зашторенную кружевным тюлем. За каждым предметом легко угадываются его информации, статейки, отчеты, разнообразные подряды. Все-таки странно, что этот кругленький домашний человек – журналист. О, репортеры – тайные романтики, искатели приключений, борцы за справедливость... О, юноши, вступающие на эту дорожку... взгляните на Пилецкого, он стоит того.

Хозяина с Яковом подозвали дамы. Костик неожиданно для себя обратился к Инне, благо Виталик угодил в родственную сеть Казимира.

– Инночка, сядьте рядом со мной.

Она присела, поджав под себя одну из своих длинных ножек:

– Заскучали?

– Вы зато веселитесь.

– Просто занятно на вас смотреть.

– Хотя что-то для вас занятно, – буркнул Костик.

– Выборочно, как вы намедни сказали. А застольных разговорчиков я наслушалась.

– И Виталик – тоже?

– Его уж тем более эти темочки не захватывают. Он у нас человек серьезный.

– Оно и видно, – согласился Костик. – Он вскорости прославит нацию, как Жолио.

Поскольку пишет диссертацию «К вопросу о...».

Костик давно уже осознал, что стихоплетство – дурная привычка, засасывающая, как табак или водка. Пожалуй, даже опасный недуг. Но это странное наваждение поистине было сильнее его. Игра созвучиями была частью игры. Рифмы делали все доступным и одновременно условным.

– К поэзии склонны? – прищурилась Инна.

– В исключительных случаях, – солгал Костик.

– Большой вас ждет успех у москвичек. А диссертация будет готова в срок. Мой Виталик умеет работать.

– Что еще умеет Виталик?

– Отдыхать.

– Емкое слово, – Костик почувствовал, что Виталик начинает его раздражать. – А книжки ваш Виталик читает?

– Выборочно. Как и газеты. Вы уж простите, я дочь журналиста. Почти профессиональная оскомина.

– Человечество уже не сможет жить без газет, – несколько докторально сказал Костик. – Слишком часто все на свете меняется.

– Все, но не папины прилагательные.

Неожиданно для себя самого Костик обиделся за Пилецкого.

– Матвей Михалыч – не хуже других.

– Но не лучше, – вздохнула Инна.

Они внимательно оглядели друг друга. Первой расхохоталась Инна.

– Когда у тебя свадебный марш? – отсмеявшись, спросил Костик.

– Переход на летнюю форму общения? Давно пора. Выкает, как воспитанный. Относительно марша – там видно будет. Когда Виталика приручу.

– А он упирается?

– Есть немножко. Ученый все-таки. Понимает, что переход в новое качество – это, в сущности, катастрофа. Во всяком случае, ее разновидность. Слушай, а что это ты за столом полез в бутылку?

– По чистой глупости.

– Мне понравилось то, что ты сказал. Наш златоуст чуть не спекся от злости. Он ведь не больно блещет умом.

– Даже не поблескивает, – сказал Костик. – Сечешь. – И добавил с элегическим вздохом: – Просто больно, что мы так поздно встретились.

Инна щелкнула его по носу.

– Найдешь, с кем перебеситься до брака. Говорю же, москвички ждут не дождутся. Неразборчивый южанин для них подарок. Воспламеняется и детонирует от любой зажигалочки. Разве нет? Между прочим, кидаешь ты здесь подружку? Хотела б я на нее посмотреть.

Костик почувствовал, что краснеет.

– Перебьешься, – бормотнул он ворчливо. – Ничего сверхъестественного. Две руки, две ноги.

Мимо них проплыла Любовь Александровна.

– Ну, как дочка? – спросила она на ходу. – Ничего малышка? – И, не дождавшись ответа, направилась к Славину.

– Что ж ты смолк? – усмехнулась Инна. – Я тебе показала?

– Ничего малышка.

– Две руки, две ноги?

– Именно так.

– И как – две ноги?

– Спроси у Виталика.

– Он уже высказался. Тебя спрашивают.

– Приезжай в столицу. Поговорим.

– Я бы съездила. Мамочка не отпустит.

– Мамочкино слово – закон, я уж вижу. Знал я одну, – такая чувствительная, говоришь с ней, все ждешь, что она зарыдает. И постоянно, на каждом шагу: мамочка меня отругала, мамочка снова меня журит.

– Полсотни ей было? – спросила Инна.

– В этом районе.

– Тогда все ясно. Хотелось побыть крошкой-дочуркой. Отбиться от возраста. А я молоденькая. Ладно, пойду вызволять Виталика. Уж если кто мне сорвет замужество, так это родичи. Очень настырны. На его месте я давно бы слиняла. Гуляй. И довольно на меня пялиться.

Она отошла, и Костик понял, что вечер, в сущности, завершился. Больше уже ничего не будет, что оправдало бы пребывание. Ай да Инночка! И умна и мила, не в мать, не в отца и не в Казимира. Столько лет прожили в одном городе и ни разу не встретились – обидно! Теперь остается лишь улизнуть, по возможности не привлекая внимания.

Рядом Пилецкий, уже захмелевший, пытал Славина:

– Так ты думаешь, с этим Чуйко можно жить?

– Почему бы и нет? – улыбнулся Славин.

– Вот и Павлов сказал Костику, что я нервничаю, что все обойдется.

– Он трижды прав, ты сам себя точишь.

Пилецкий вздохнул с таким облегчением, будто только и ждал этих трезвых слов. «Да здравствует психотерапия» – подумал Костик, глядя на Якова. Лицо Славина выглядело усталым. «Ему выпало терпеливо выслушивать, успокаивать и отпускать грехи. А уж, верно, и он бы не отказался, чтоб однажды кто-то снял с него тяжесть. Нынче вечером он впервые признался, что маленько притомился от всех».

Между тем Пилецкий вдруг обнял Якова.

– Знаешь, я так тебя люблю, – произнес он с чувством, устремив на гостя пьяненький проникновенный взор, – не один день мы знаем друг друга... – Говоря это, он заметил Костика и быстро добавил: – И вас, Костик, я полюбил. Честное слово, мне просто горько, что вы так скоро от нас уезжаете.

Как все сентиментальные люди, Пилецкий был человек настроения и с легкостью преувеличивал значение тех или иных отношений. Сейчас ему искренне казалось, что он отрывает от себя чуть не сына.

– Спасибо вам за тепло и ласку, – ответил Костик. – Чудесный вечер.

Пилецкий растроганно шмыгнул носом.

«Похоже, сейчас он пустит слезу», – опасливо подумал Костик. В голове подозрительно гудело. Видимо, вдоволь хлебнул веселья. Костик тихо скользнул в прихожую.

* * *

Мир и спокойствие позднего лета были взорваны скандальным событием, в основе своей весьма патетическим. Двое популярных людей схватились в извечной борьбе за женщину. Речь шла об Эдике, Абульфасе и, само собой, о роковой Людмиле, которая, став героиней драмы, также приобрела известность. Люди, ранее не бывавшие в скромном клубе автодорожников, стали частенько туда наведываться, чтоб украдкой на нее посмотреть. Прекрасная официантка с достоинством несла на пышных своих плечах бремя обрушившейся на нее славы.

Версии были самые разные. Одни очевидцы сообщали, что Абульфас, вопя что-то невнятное, похоже, хотел убить трубача каким-то непонятным предметом. Другие – романтики и мифотворцы – клялись, что если и не убил, то нанес весьма тяжелые раны, при этом произнеся заклятье. Что жизнь Эдика была в опасности, но Люда, сдавшая свою кровь, спасла его от неминуемой смерти, и, кажется, он останется жить. Третьи, люди уравновешенные, прозаического склада души (скорее всего, не аборигены), говорили, что все обстояло проще, в конечном счете – не столь кроваво, что сначала соперники обменялись непочтительными выражениями, после чего Абульфас вспылит, выбежал из-за своей стойки и, размахивая черпаком, которым он разливал кофе, вознамерился им огреть музыканта. При этом он яростно утверждал, что «горбатого в могиле не утаишь». Эдик мужественно оборонялся ложкой, но потом проявил благоразумие и мудро уступил поле боя, сказав, что ноги его здесь не будет.

Славин (рождением северянин) склонялся к прозаической версии.

– Стыжусь своей мексиканской роли, – говорил он сбитому с толку Костику. – И все-таки чувствует мое сердце, что люди, лишённые воображения, в который раз окажутся правы.

Вскоре на улице они встретили Эдика и убедились, что тот невредим. Друзья выразили свое удовольствие видеть его живым и здоровым. Шерешевский был томен. Близость опасности придала ему некоторую лиричность и еще большую значительность. Однако, вспомнив про Абульфаса, он едва не вышел из берегов.

– Это был самый настоящий теракт, – сказал он тоном, не допускающим возражений

– Теракт?

– Ну да. Террористический акт. Он покушался на мою жизнь.

– Бог с вами, Эдик...

– В том нет сомнения. Я всегда знал, что это скрытый бандит, и поражался администрации, которая его пригревала на своей нечистоплотной груди. К тому же публика его избаловала, и он почувствовал себя королем. Вы тоже, друзья мои, не без греха. «Что за кофе! Какое искусство!» Подумаешь, мастер! Покойный мой дед варил кофе лучше, чем этот разбойник. Во всяком случае, не такую бурду. А вы вашими похвалами вскружили ему голову и разнуздали инстинкты.

– Но он вас не ранил?

– По чистой случайности. Чем-то он был вооружен. Но я – не из робкого десятка. И пусть он бога благодарит, что на завтра мне предстоял концерт. На его счастье я должен был себя сдерживать. Артист обязан беречь свою внешность.

– Из-за вашей внешности все неприятности, – сказал Костик.

– Не говорите. Красивый парень, да еще обаяние, умом тоже бог не обидел – ясно, что бабы мечут икру. В чем тут моя вина, объясните? Вечно какая-то канитель.

– Но Люда вела себя героически. Это вас все же должно согреть.

– Кто это вам наплел?

– Ходят слухи.

– Я поражаюсь. Нашли героиню. Стоит у стойки и мажет губы. Я ей кричу: «Люда, уйми его...» А она бубнит: «Абульфасик, хватит...» И не шелохнется. Нет, эти женщины лично мне уважения не внушают. Той же Люде я тысячу раз твердил: поставь ты этого печенег на место. А она, напротив, его поощряла.

– Вы снова правы. Женщины глухи.

Эта невинная сентенция внезапно настроила потерпевшего на другую волну. Он оживился.

– А я вам никогда не рассказывал, как я встречался с глухой дамой? – спросил он. Лицо его озарилось. – Роскошная женщина! Кровь с молоком! Шея как у лебедя! Ноги – чуть не из горла! Но глухая, как эта стена. Ни звука не слышала, представляете? Это была какая-то пытка! Невозможно было договориться.

– Вы это вспомнили очень кстати, – сказал Славин. – История символическая.

* * *

Наконец-то график работы Зины, старшей сестры Жеки и старшей сестры в городской психиатрической клинике, покровительствовал любви. Все ближе и ближе был день отъезда, и встречи на бульварной скамье казались насмешкой и профанацией. Времени оставалось мало, необходимо было спешить и взять друг от друга все, что можно, ничего не откладывая на завтра.

– Попрощаемся, так уж влась, – сказала Жека не без лукавства.

Сообщив родителям, чтоб не ждали и не тревожились ни о чем, Костик отправился в свой сезам. На лестнице он столкнулся с соседкой в воспетой им фиолетовой мантии. Запахнув ее, от смущения вспыхнув, она стремительно метнулась в сторону. Вид молодого человека не оставлял никаких сомнений в том, куда он сегодня спешил. Впрочем, каждый выход Костика в свет имел, по мнению Елены Гавриловны, одну и ту же греховную цель.

Вечер густел, фонари сияли, в воздухе веяло ожиданием. Костик шагал по старым улицам, не торопившимся помолодеть, как это случилось с ними позднее, через несколько десятилетий. Но даже и в будущем, в дни перемен, этот город, в отличие от других, сохранил устойчивую инерцию, не во всем удобную для его жителей, но пленительную для его гостей. Да и жители ощущали по-своему ее хазарское очарование.

Многие города стремятся возможно скорее проститься с прошлым, точно в нем скрыто нечто постыдное. Они отрекаются от него, как нувориши от своей родословной, они его сбра-

сывают с себя, как износившееся платье, выкидывают, чтоб не лезло в глаза, на окраинную свалку, подальше. А уж если неожиданно и обнаружатся ревнители седой старины, то ее преподносят такой отмытой, отполированной, такой отдельной, что она лишь подчеркивает несоответствие с бьющей через край современностью.

Но в этом городе было иначе. Его южная история так проросла в нем, что ее можно было лишь окружить, но не вытоптать.

Кварталы, крутые, почти отвесные, и пологие, спускались к равнинной части, вливались в тупики, в переулки, в центральные улицы, витые, сворачивавшиеся полукольцом, наполненные трамвайным звоном, и прямые, устремленные к морю. Новых домов было немного, а старые лепились друг к другу, темные узкие проходы, заставленные чанами для мусора, вели во дворы с внутренними галереями, а над тротуарами нависали балконы, на которых в сумерки пили чай, а позже на ночь стелили постели.

Город обычно переполняли знакомые, Костик едва успевал раскланиваться. Останавливаться он избегал – можно было застрять и опоздать к условленному часу. Но когда на соседней Первомайской он встречал Газанфара, то невольно замедлял шаг и почтительно его приветствовал.

До войны Газанфар трудился в районе, называвшемся Черным Городом, на одном из нефтеперегонных заводов. Он был ранен в Керчи, вернулся из госпиталя с продырявленным легким и сменил профессию – стал водопроводчиком, а после работы занимался всяким мелким ремонтом. Руки у него были не то что умные, а уж поистине всеведущие, и они почти не оставались в бездействии – он очень нуждался в дополнительном заработке.

Когда поток эвакуируемых хлынул сквозь город, Газанфар взял к себе сперва одного ребенка, потом – другого, а короткий срок спустя – еще двух, рыжих, конопатых близнецов. Истории всех этих детей были и различны и сходны. У девочки в порту умерла тетка, второй малыш потерял мать в эшелоне в ночной бомбежке, а близнецы даже толком не знали, где остались родители, – волна нашествия разлучила их в первые дни.

Жена Газанфара, рыхловатая женщина с полным растерянным лицом, лишь молча всплескивала руками, когда муж являлся с очередным приемышем, – своих было двое! – но не прекословила.

Жилье их мало чем отличалось от многих других в этой части города – две небольшие темноватые комнаты с галерейкой в шумном тесном дворе, где жизнь была открытой, вся нараспашку, точно выставленная для обозрения. И жилье это чудом каждый раз расширялось, будто было оно надувным – послушно вбирало в себя пополнение.

Газанфар был суров и немногословен. Когда Костик спрашивал, как идут дела, он неизменно отвечал:

– Все как надо.

Было ясно, что это не пустые слова.

Годы шли, дети вытягивались, соседи поговаривали, что старшие уже готовы вылететь из гнезда. Сам Газанфар заметно старел, но образ жизни его не менялся – уходил ранним утром, приходил ближе к ночи. Выходных он и вовсе не признавал, они-то и были самыми рабочими, больше всего успеваешь сделать, и все-таки на свою стаю у него всегда находилось время – откуда он брал его, понять нельзя было.

Однажды в праздничный день Костик встретил всю семью на бульваре, это было незаурядным событием! Впереди бежали рыжие близнецы, сзади вышагивали еще четверо. Вслед за ними шли Газанфар и Асья-ханум. У нее было все то же напряженно-растерянное выражение лица, Газанфар же, завидя Костика, усмехнулся, едва ли не впервые за все их знакомство.

– Все, как надо, – пробормотал Костик.

Сегодня, однако, он сравнительно быстро преодолел привычный маршрут, никто не встретился по дороге.

Жека ждала во дворике-садике. Она была в белом сарафане, и в августовской темноте Костик вначале увидел его, а потом уж – лицо Жеки, ее голые руки и ноги, затушеванные до черноты загаром.

– Явился – не запылится, – хохотнула Жека.

– Ко мне не пристанет, – сказал Костик.

– А пристанет – отчистим, – заверила Жека. – Идем, арбузом тебя накормлю.

Обнявшись, они миновали дворик. В окне на первом этаже горел свет.

– Дядя бодрствует, – отметил Костик.

– Совсем уже соскочил с резьбы, – Жека недовольно поморщилась. – Прежде в десять ему второй сон показывали, а теперь с утра до ночи томится.

– А что он делает?

– Шут его знает. То читает, то пишет, то в пол уставится. С ним говорить – зряшное дело. Что пнем об сову, что совой об пень. Я Зинке сказала: твой пациент. Такой же псих... Лечить его надо.

Поднялись по скрипучей лесенке, вошли в длинную и узкую комнату. У стен стояли кровати с высокими спинками. Над Зининым ложем висел портрет – ее увеличенная фотография. Зина снялась в темном берете, смотрела дерзко и вызывающе. Черты лица ее были резки – острые скулы, орлиный нос. Ничего похожего на сестру, в которой все было округло и гладко.

У третьей стены, напротив двери, стоял рассохшийся гардероб, а в центре комнаты – стол, квадратный, крытый скатертью, не однажды чиненной. Больше не было никакой обстановки. Сейчас на столе возвышался арбуз, на тарелке лежала колбасная башенка, в плетеной хлебнице – белый батон. Стояла бутылка с местным вином, красным, терпким, кисловатым на вкус.

Арбуз был неопишуемой сладости, хрустел, сочился, нежно урчал, точно изнемогал под зубами. Они расправились со всем, что было – и со снедью, и с красным вином. Костик – быстро и нетерпеливо, Жека – не спеша и со вкусом. Он всегда удивлялся, как обстоятельно она ест, просто на совесть трудится. В крепких, добротнo работавших челюстях ощущалась все та же неисчерпаемая, переполнявшая ее сила. А в каждом движении, даже в том, как она утирала сочные губы, была хозяйская основательность. Костику то и дело мерещилось, что Жека много его взрослей.

Дома ходила она босиком («Кожа требует», – говорила Жека) – дощатый пол стонал, точно жаловался, прогибаясь под ее мощными ступнями – было ясно, что ее ветром не сдуешь.

Встав из-за стола, Жека сказала:

– Поели, попили – пора и честь знать. Времечко-то бежит между тем.

И стала стаскивать сарафан через голову.

Когда он проснулся, было светло. Рядом, полуоткрыв рот, тихо посапывала Жека. Костик взглянул на часы и охнул – скоро должна была явиться Зина. Стараясь не разбудить подружку, он осторожно отодвинулся от медного раскаленного тела, слез с кровати и торопливо оделся. За стеной переговаривались соседи – протяжный мальчишеский тенорок и хриплый прокуренный голос отца так наскakивали один на другой, что нельзя было разобрать ни слова.

Передвигаясь на носках, чтобы не заскрипели ступеньки, Костик спустился в утренний дворик и бесшумно, как домово́й, направился к зеленой калитке. Калитка эта его умиляла. От нее веяло деревенским покоем, жаль только, что и она скрипела. В центре таких почти не осталось, но в Нагорной части, где жила Жека, похожие еще попадались.

– Здравствуйте, доброго вам утра.

Костик вздрогнул и обернулся. У распахнутого окна сидел человек, видный по грудь. Лет ему было близко к пятидесяти, лысоватый, полуседой, с мятым некрасивым лицом, на котором приветливо улыбались светлые голубые глаза. Они с трудом сочетались со всем его обликом и казались взятыми напрокат.

– Здравствуйте, – сухо сказал Костик.

Но его сдержанность не охладила заговорившего с ним человека.

– Вы ведь приятель Женечки, правда? – спросил он. – Очень рад познакомиться.

Костик понял, что это и есть тот дядя, который своим поведением вызывал недовольство обеих племянниц. Он ощутил двойную неловкость – смущало и появление родственника, встреченного в неурочное время, и его неоправданное дружелюбие.

– Я тоже рад, – сказал он коротко, отворяя зеленую калитку.

– Может быть, зайдете ко мне? Хоть на минутку? – спросил дядя.

Голос его был таким просительным, что у Костики не хватило духу уклониться от приглашения.

Комната выглядела еще скромнее, чем обиталище сестер. Почти не было мебели – топчан, три стула, комод и стол, прислоненный к окну. Зато книг и бумаг было в избытке, они лежали где только можно – на подоконнике, на столе и на стульях, на топчане, а больше всего – на полу.

– Меня зовут Родион Иванович.

Неведомо почему, имя и отчество Костику показались знакомыми.

– Константин.

– Вы садитесь, пожалуйста. А книжки положите на пол. Ничего, тут их много. Вам удобно?

Только сейчас Костик увидел, что у хозяина нет ноги. В углу, близ комода, стоял протез, а за топчаном лежал костыль.

– Чем занимаетесь, если не секрет? – осторожно спросил Родион Иванович.

Костик избегал сообщать, что он сотрудник печатного органа, чем прежде необычайно гордился. Опыт его уже научил, что люди, сведя знакомство с газетчиком, сразу же начинают подумывать о том, как использовать этот канал. Поэтому он ответил небрежно:

– Я поступаю в аспирантуру.

Это не было ложью, хотя не было правдой.

– Замечательно! – воскликнул хозяин. – Значит, будете деятелем науки. А в какой же области?

– Я историк.

Родион Иванович повторил:

– Замечательно. – И добавил стеснительно: – А я вот пишу.

– Что именно? – поинтересовался Костик.

– Воспоминания и стихи. Но больше – стихи. Воспоминания – это ведь очень долгое дело. А стихи могут иметь быстрый отклик. Они оперативно решают задачу.

«Не стал бы только он их читать, – опасливо подумал Костик. – Вот счастье-то, что я не сказал, где служу».

Родион Иванович словно угадал его мысли.

– Женечка очень мной недовольна. И Зиночка – тоже. Они считают, что из этого ничего не получится. Но я не разделяю такого неверия. Проще всего – опустить руки. Я потому и пишу стихи, что такие настроения у молодежи меня бесконечно огорчают. Кроме того, художественное творчество для меня занятие не случайное. Я мечтал о нем с детских лет. Но не было никаких условий. Мне и школы не удалось закончить. Работа не оставляла времени, очень много уж приходилось, простите вульгарное слово, вкалывать. Сестра – одна, да еще две девочки. Потом, как вы знаете, она умерла. Буквально через какой-то месяц после того, как я вернулся с Великой Отечественной войны. Потом я очень долго лечился, лежал в различных госпиталях. Врачи прилагали большие усилия, чтобы сохранить мою ногу. Я им безмерно благодарен, но, как видите, ничего не вышло. Пришлось перейти на инвалидность. Было от чего приуныть, но я понял, что не имею права. Тем более я всегда был занят, а теперь вот образовался досуг,

и я всецело могу себя посвятить любимому и нужному делу. Хотя Женечка с Зиночкой недовольны. Но они со временем все поймут. Я в этом несколько не сомневаюсь.

Костик слушал его монолог, раздумывал, как лучше ответить. Он уже вспомнил, почему его имя и отчество были у него на слуху. Перед ним сидел бескорыстный поэт, загнавший в угол беднягу Малинича. Чистый сердцем. Не требовавший гонорара.

– Стихи свои я посылал очень часто в периодическую печать, – говорил между тем Родион Иванович. – Но взаимопонимания я не встретил. Люди там знающие и образованные, но форма для них решает все. А я убежден, что в первую очередь надо учитывать содержание. Жаль, что редакторы и консультанты не понимают простых вещей. Конечно, случаются исключения. Вот в нашей газете есть Малинич. Ему моя задача ясна. Но и он упирается в разные мелочи. То моя рифма ему – не в дугу, то у меня размер неверный. Иной раз даже неловко становится. Не тот размер. Вот тоже – беда! Да я в любом сапоге прошагаю, пусть он сваливается, пусть жмет до слез. Выдержу. Была бы нога! Понимаете, вы ногу отдайте, я на любой размер соглашусь. Вот, Костенька, это его ответ. Взгляните. А очень душевный товарищ.

Костик читал свое письмо, подписанное, как обычно, Малиничем. На душе его было и смутно и мутно.

– Все время пишете? – пробормотал он, не поднимая глаз от листка.

– Надо, – вздохнул Родион Иванович. – Надо. Что делать? Это мой долг. – Слово ему показалось громким, и он поправился: – Моя обязанность. – Потом, показав на скопище книг, усмехнулся: – Решил прочитать всех классиков. Вот и сижу с утра до ночи. Как бы зрение не потерять. Мне только этого не хватает. Племянницы со свету сживут. Но – надо. В чем-то Малинич прав. Не в главном, а все-таки... Надо освоить. – Он пристально взглянул на Костика и устало проговорил: – Думаете: «Без тебя обойдутся...» А если так каждый сам себе скажет? Дети наши, которые подросли, вместо детства видели только горе. Даже взрослым непросто войну пережить, а уж им?.. Безотцовщина, порушенный дом, вредное влияние улицы. Ничего удивительного, что очень многие могут вырасти неспособными к радости. Надо помочь им. Надо воздействовать. Верным словом и личным примером.

Голос его звучал убежденно, однако в нем не было одержимости, скорее – недоуменье и боль. На Костика взирали глаза, из которых лилась неправдоподобная и уже запредельная голубизна.

«Да ведь дни его сочтены!» – вдруг понял Костик.

Он сказал:

– Дайте мне ваши стихи. Возможно, удастся их напечатать.

Родион Иванович улыбнулся такой самонадеянности:

– Вам откажут.

– Там увидим. Это моя забота.

Родион Иванович разволновался. Он долго перебирал бумаги, задумывался и громко вздыхал – нелегко ему было сделать выбор. Наконец, измучившись от сомнений, протянул Костика длинный лист с почти графическими письменами. Они были выведены с великим тщанием.

– Вот, – прошелестел он чуть слышно.

– Наберитесь терпения, – сказал Костик. – Я обещаю: они появятся.

У зеленой калитки он чуть помедлил, взглянул на окно на втором этаже. Он представил кровать с закругленными спинками – одна повыше, другая пониже – и Жеку, раскинувшуюся во всю ширину, взалоб пьющую утренний сон.

«Спи спокойно, дорогая подруга», – подумал он с глухим раздражением.

* * *

Костик сидел напротив Малинича, слушал жалобы на судьбу и посматривал через окно на улицу.

Август догуливал последние дни, не догадываясь об этом. Было так же солнечно и безветренно.

Вошел Духовитов, как всегда озабоченный.

– Вот вы где, – сказал он Костику, – вас там ищут. Послужите напоследок газете.

– Совсем напоследок? – спросил Малинич.

– Бросает нас, – сказал Духовитов.

– Вот так, беспощадно? – воскликнул Малинич. – На какой же день назначен ваш старт?

– На первый сентябрьский, – вздохнул Костик.

– Дети – в школу... – пробормотал Духовитов.

– Именно так, – сказал Костик. – Даже не подозреваете, как это точно.

В комнату заглянула Леокадия. Лицо ее было густо напудрено, вот уже два дня ее глаза то и дело были на мокром месте. Она ходила по коридорам редакции нахмуренная и напряженная, всхлипывая через краткие промежутки. С публицисткой вновь случилась история. На сей раз Костик был неповинен, но она тем не менее обжигала молодого коллегу взглядом, исполненным укоризны. И сейчас, увидев его, Леокадия поспешно захлопнула раскрытую дверь.

– Чего хочет от меня эта женщина? – воззвал Костик. – Чем я виноват?

Малинич мрачно пожал плечами.

– Рефлекс, – пробормотал Духовитов. – Вы принесли ей много горя.

– Но сейчас-то?..

– Говорят вам – рефлекс. Паяльников тоже вас прокликает.

История заключалась в том, что Леокадия написала отчет о встрече поэтов-земляков с поэтами близлежащего города. Отчет был написан с большим темпераментом и увенчивался духоподъемной фразой: «Пронизанная чувством ответственности за все происходящее в мире, эта яркая встреча прошла под девизом “поэтом можешь ты не быть...”»

В последний момент, схватившись за голову, Геворк Богданович заменил процитированную строку соседней. Теперь финал звучал полаяльней: «яркая встреча прошла под девизом: “но гражданином быть обязан...”»

В редакции все воздали должное отменной находчивости шефа, Костик однако же заметил, что подсознательный намек Леокадии на творческие ресурсы поэтов слышен и в новой – благополучной – версии. При этой реплике Геворк Богданович недовольно поморщился, а Леокадия всхлипнула.

– К вам – Николаевский, – сказал Духовитов.

– Что он принес? – спросил Костик.

– Не знаю. Это – по вашей части.

И опытный Духовитов ушел.

– Интересно, что он будет делать в дальнейшем? – Костик покачал головой. – Мои безумцы переходят к нему. По наследству. Таково мое завещание.

Он вышел в коридор, где его ждал Николаевский.

– Здравствуйте, Василий Козьмич, – приветливо улыбнулся Костик. – Счастлив вас видеть. Чем порадуете?

Седовласый политик хитро усмехнулся и потряс протянутую ему руку.

– Есть идея, Константин Сергеевич. И, по-моему, весьма недурная. На сей раз можно загнать их в угол.

– Присядем, – радушно пригласил Костик. – Идеи нужно воспринимать сидя.

Они сели на продавленный черный диван, занимавший примерно треть коридора. Мимо них торопливо прошла Леокадия. Костик дружески помахал ей ладонью, но публицистка лишь вскинула голову, придав добродушному круглому личику выражение независимое и надменное.

– Итак? – спросил молодой человек.

– Они, – все с той же лукавой усмешкой сказал Николаевский, – любят божиться, что хотят сохранить цивилизацию.

– Да, это они – на каждом шагу, – подтвердил Костик.

– Вот и отлично, – Николаевский удовлетворенно покашлял в кулак. – Давайте предложим им испытание. Пусть сдадутся, если такие заботливые.

– Одна из лучших ваших идей, – с готовностью согласился Костик. – Но есть заковыка. Тут может возникнуть довольно сложная ситуация.

Николаевский забеспокоился.

– Но какая же?

Костик нахмурился.

– Могут сделать встречное предложение. А мы не пойдем на капитуляцию.

Николаевский встал и надел шляпу. Он был подавлен.

– Значит, они...

– Так опытные же демагоги, – Костик грустно развел руками. – Знают, что это и наша задача – не дать пылать земному шару. Так и в любимой песне поется.

Николаевский песен не пел и не знал, но этот аргумент был убийственным. Он попросился и пошел восвояси. У Костика защемило сердце. Он медленно вернулся к Малиничу.

– Договорились? – спросил Малинич.

Костик кивнул.

– Золотой человек, – вздохнул сотрудник отдела муз. – Я имею в виду не вас, а его. Он существует в мире логики, всегда удаётся его убедить. А как прикажете говорить с Настюшонком?

Настюшонок был тот самый воитель, который уже в течение года доказывал миру, что он является жертвой циничного плагиата. В плагиате им уличался автор, занимавший видное положение и потому довольно известный. Бедняга Малинич в своем ответе рискнул усомниться, что злокозненный деятель имеет доступ к творчеству Настюшонка. Тогда хлынул новый поток инвектив. Сперва Настюшонок горько смеялся над наивностью органа печати, хотя признавал, что и он когда-то был доверчив и прост душой. Надеясь на помощь молодому таланту, он послал известному человеку целый тук своих сочинений, чем и воспользовался пират. Когда же неосторожный Малинич осмелился не принять эту версию, Настюшонок обвинил и его. Теперь потерпевшему стало ясно, что Малинич пересылает – само собою, не бескорыстно – его творения плагиатору.

Чувствовалось, что несчастный Малинич находится на грани отчаяния. Утешений Костика он не воспринял.

– Вам хорошо, – сказал он страдальчески, – вы отрясаете прах с ваших ног, а я остаюсь с этим маньяком.

Костик прервал его стенания:

– У меня к вам просьба, обещайте, что сделаете.

– А это в моих силах?

– Вполне. Напечатайте хотя бы однажды стихи бессребреника. – Так в газете называли Родиона Ивановича.

– Вы с ума сошли, – воскликнул Малинич.

– Нет. Я – в здравом уме и твердой памяти. Я всю ночь просидел над его стихами и привел их в кондиционный вид. Они не хуже, чем у Паяльников.

– Прямо уж...

– Уж прямо. Прочтите. Во всяком случае, больше чувства. Напечатайте. Сделайте доброе дело. Это очень достойный человек. А бескорыстие – качество редкое. От вас, например, я его не требую. Я готов оплатить эту услугу.

– Нет, вы спятили!

– Нет, я не спятил, я отвечу вашему Настюшонку. За собственной подписью. Он будет доволен.

Малинич подумал, потом попросил:

– Дайте-ка мне эти стишата.

Костик достал памятный лист, полученный от Родиона Ивановича. Теперь почти весь он был густо исчеркан его редакторским карандашом. Малинич прочел и мрачно сказал:

– Понятно. Пишите ответ Настюшонку.

– Я – тебе, ты – мне, – вздохнул Костик.

Настюшонку он написал следующее:

«Продукция обвиняемого Вами писателя так плоха, что о плагиате не может быть и речи. Не могу объяснить, чем руководствуются те, кто публикует ее, по красть такой хлам совершенно незачем. Если же за этой продукцией и в самом деле стоите Вы, то вина Ваша крайне велика, и вред, который Вы нанесли отечественной литературе, требует особого разговора».

– Больше он вам докучать не будет, – сказал Костик, запечатывая конверт.

– А что вы написали? – спросил Малинич.

– Секрет фирмы. Но это большая радость – писать то, что думаешь. Прощайте, прощайте. Не забудьте про уговор.

Последнее посещение редактора было коротким, но душевным. Геворк Богданович пожелал успеха и заверил, что чистосердечно забыл все волнения, которые Костик доставил.

– Но, – сказал он, – ведите себя аккуратно. Там ваши номера не пройдут. Можете ненадолго обжечься. Нет, не надо мне отвечать. Я вам сказал, а вы подумайте.

– Хорошо. Я подумаю. А вам – спасибо.

– За мое терпение?

– За ваш совет.

– Ох, советовать мы все – мастаки, – грустно сказал Геворк Богданович. И неожиданно полюбопытствовал: – Вчера вы не были на стадионе? Была замечательная игра. Я отдохнул душой и телом. Верите, не собирался идти, но Майниченко меня убедил. Поклялся, что я жалеть не буду. И что вы думаете? Как в воду глядел. Все-таки он толковый малый. Тут уж без химии – знает спорт.

* * *

Незадолго до отъезда он простился с профессором. Долговязой супруги не было дома, и обошлось без чаепития. Ордынцев был и смущен и задет тем холодноватым приемом, который его коллега в Москве оказал Костику, и все пытался найти пристойное объяснение.

– Странно, он был человек широкий. Не говорю уж об уважении, которое он ко мне питал. Конечно, с годами люди меняются, но, думаю, тут дело сложнее. Он ограничен в своих возможностях и не хочет этого показать. Отсюда – все прочее. По-человечески это понятно, хотя и не крупно. Но, так или иначе, все устроилось. От заочной аспирантуры, естественно, не надо отказываться. Работать и заниматься трудно, но в вашем возрасте – преодолимо. Двойная ноша – двойная и честь.

Костик сказал, что думает так же.

– Через несколько дней, мой дорогой, вы будете уже далеко, – задумчиво проговорил Ордынцев. – По сути дела, в другой жизни. Говорят, что планета стала маленькая. С одной

стороны, разумеется, так, но с другой – люди отделились заметно, даже если трудятся в одной сфере. Судьбы их мало соприкасаются, линии прочерчиваются в параллельных плоскостях. Сколь по-домашнему жила Европа в каком-нибудь восемнадцатом веке! История сестры Бомарше, которую соблазнил испанец, стала достоянием всех столиц! Гёте даже написал драму, где вывел оболстителя под собственным именем. Как и оболщенную с ее братом. Решительно все поименованы – Клавиho, Лизетта и Бомарше. Это не бестактность, это – образ жизни. Вроде бы – семейное дело. Теперь этого не может быть. Даже московские знакомые призрачны. А незнакомые – те и вовсе. Не говорю уж об иноземцах. Тойнби для меня – чистый миф, его книги существуют от него сепаратно.

Профессор долго еще говорил на эту большую для него тему, изредка оправляя чехлы на креслах и переставляя предметы – страсть к порядку была у него в крови. Студент с образцовыми конспектами мог всегда рассчитывать на поблажку.

Костик сказал о своей благодарности. Профессор всегда для него останется дорогим Станиславом Ильичом, приобщившим его к богатствам истории. Он, Костик, уверен – душевная связь порою не уступает родственной.

– Иной раз и превосходит ее, – сказал Ордынцев. – Благодарю вас.

Они обменялись рукопожатием. Помедлив, профессор обнял Костика.

Шагая по улице, молодой человек усмешливо качал головой.

«Сцена славная, вполне благородная. В духе классических традиций. Достойная зрелость напутствует юность. А в общем – он и мил и умен».

Но ироническая интонация на сей раз имела защитный цвет. Он был растроган и хотел это скрыть – в первую очередь от себя самого. И не только из юного опасения быть чувствительным, то есть почти комичным. Тут скорей говорил инстинкт, запрещающий расслабиться и разнюниться. Наступало Время Большой Проверки, не допускавшее сантиментов. Нужно было держать себя в струне.

Он вышел на бульвар. Сколько раз ноги несли его сюда – кажется, даже сами собой, без предварительного приказа. Найдется ль такое местечко в Москве, куда, как безутешного князя, повлечет его неведомая сила?

Вот только грустными берегами берега эти не назовешь. Здесь неизменно кипела жизнь. Костик помнил еще то время – оно пришлось на дошкольные годы, – когда бульвар был сравнительно невелик и заканчивался эстрадным театром с гордым именем «Феномен». Потом бульвар с размахом продлили. Появились названия Новый бульвар и соответственно Старый бульвар, тот самый, где и прошло малолетство. За чинарами и платанами, прижавшись к набережной, бесконечной и длинной, почти как день в ту давнюю пору, струились тенистые аллеи, а глубже, греясь под рыжим солнцем, свернулись в кольца площадки для игр, где горланили, бегали и возились в песке.

Но и позже, в отроческую сумятицу, и после, в студенческие вечера, бульвар оказывался той Меккой, куда ритуально устремлялись скитальцы. Да и куда ж? Выбор был небогат.

После многочасовых прогулок вдоль темно-коричневого моря было особенным удовольствием остановиться и постоять близ каменистого барьера и вдруг почувствовать в знойный полдень, как упоительно ломит зубы хрусткий ветреный холодок с запахом водорослей, мазута и соли.

Потянуло сюда и нынче. Еще один прощальный визит, причем из самых многозначительных. В конце концов, на этой арене под утренним или под звездным небом постигалась нелегкая наука, которую мудрые эрудиты называют воспитанием чувств.

Школа общения и школа сдержанности. В этих классах и аудиториях без стен, без крыш, на открытом воздухе ежечасно шли сессии и экзамены. Провалы были в порядке вещей, успехи давались трудно и редко. Надежды вспыхивали и гасли. Самолюбия кровоточили. Щелчков

нельзя было перечесть. Но, так или иначе, шаг за шагом, что-то теряя и находя, молодые проходили весь курс.

Набережная была пуста, пусты были в этот час и скамьи. Костик присел на одну из них. Хотелось сказать нечто торжественное, итожащее и благородное. Но вечный страх оказаться смешным, пусть даже лишь в собственных глазах, его удержал и на этот раз. Оставалось только негромко посвистывать. То был иронический, а потому допустимый аккомпанемент своим грустным мыслям.

Рядом с ним присел человек. Костик мельком его оглядел, лицо показалось отдаленно знакомым, и в тот же миг оно осветилось растерянной, виноватой улыбкой, Костик узнал Маркушу Рыбина.

Все это время после того, как ему открылась история Анечки, он подсознательно избегал Маркушу. Было досадное ощущение, что на нем лежит какая-то тень, что тут и сам он – не без греха. Можно было сколько угодно пожимать плечами, сердясь на себя и свое разгулявшееся воображение, но смущение не проходило. И сейчас, встретясь лицом к лицу, он почувствовал, что краснеет.

Однако Маркуша ему обрадовался и двумя руками потряс его руку. Он спросил Костика, верно ли это, что он навсегда уезжает в Москву. Костик кивнул, краснея все гуще. Он догадывался, что для Маркуши столица обозначала Анечку. Ехать туда значит ехать к ней.

Но Маркуша, судя по его виду, терзаний Костика не замечал. Он сердечно пожелал ему счастья.

– Так оно и будет, – сказал он, – у меня легкая рука. Вообще Москва приносит удачу.

И рассказал, что именно в ней он пережил лучшие свои минуты.

Было это лет семнадцать назад. Только что Маркуша женился и почти сразу же после свадьбы, с Театром оперы и балета, где он тогда служил концертмейстером, отправился в Москву на гастроли. То были не простые гастроли, они входили в цикл декад, в течение которых республики показывали, чего достигли в искусстве. И вот уже в самом конце декады, поздно вечером ему позвонил один из административных работников (Маркуша с Анечкой, как и другие, жил в новой гостинице «Москва») и сообщил, что завтра в газетах будет Указ о награждении и что Маркуша – среди награжденных, отмечен орденом «Знак Почета». Всю ночь потрясенный Маркуша не спал и не давал спать юной Анечке. Рано утром он побежал за газетами и в самом деле обнаружил в списке тех, кто удостоен наград, свое имя. И жизнь в тот же миг засияла таким щедрым ослепительным светом, что у Маркуши перехватило дыхание. Счастье было полным и сокрушительным. Настало лето, пора отпусков, и Маркуша с Анечкой на пароходе отправились в путешествие по Волге. В то время ордена были редкостью, и все попутчики то и дело посматривали на лацкан его пиджака. Незабываемые дни! Он признался Костику, что и поныне любит вспоминать ту весну и лето. Столько минуло лет, а все так отчетливо, так свежо, не замутилось ничуть. И как он не спал всю ночь напролет, как дождался утренних газет с Указом, и как путешествовал после по Волге с молоденькой красивой женой, и все смотрели на его орден, на Анечку, на него самого.

Встреча эта Костика растрожила почти так же, как встреча с дядей подружки. Мысли стремительно и беспорядочно обгоняли одна другую, перемещаясь с предмета на предмет. То он думал о безногом поэте, то об Анечке, ехавшей в неизвестность, задумчиво глядевшей в окно. То вдруг являлся бодрый попутчик, в синих «финках», обтягивавших таз и животик. Вспоминалось, как он был оживлен, как быстро увял, как скрывал обиду. Почему-то без всякой видимой связи обозначилось лицо Николаевского, обескураженное и удрученное. Возникал лучезарный Маркуша Рыбин, упоенный свалившимся на него счастьем. Люди были разные и несхожие, но ко всем он испытывал сострадание, непонятное ему самому. Это неожиданное чувство роднило их меж собой и его с ними.

* * *

Вечер накануне отъезда безусловно следовало провести с родителями, но Костик не нашел в себе достаточных сил, чтобы отказаться от встречи со Славиным. Тем более что эта их встреча была и прощанием, подведением черты, напутствием, которого он подсознательно ждал. Таким образом, ее смысловая нагрузка была велика и, по ощущению Костика, только Славину была по плечу. «К тому же, – говорил он себе, – от Якова я вернусь к пенатам. Ляжем позже, а встанем раньше, будем вместе еще полдня».

Он видел, что отец захандрил и уже с превеликим трудом справлялся с захлестывающим его отчаянием. Похоже, он только сейчас осознал, что расставание неизбежно, быть с сыном осталось меньше чем сутки. Костик чувствовал, как болезненно его пронзает горькая нежность к стареющему на глазах человеку, беспомощному от своей любви. Но эта нежность и обессиливала, и словно подтачивала изнутри, а в предвидении тех испытаний, которые поджидали в Москве, он не имел права расслабиться.

Выходя, он столкнулся с Еленой Гавриловной. Костик не смог скрыть удивления. Фиолетовый халат был отставлен. Она была в строгом черном платье, на груди вместо броши горела роза.

– Вы завтра едете? – спросила соседка, по обыкновению заливаясь краской. – Дай Бог вам, Котик, огромного счастья.

– Будьте благополучны и вы, – с чувством ответил ей Костик. – Теперь уже нет смысла скрывать, – видя вас почти ежедневно, я однажды себя ощутил мужчиной.

И, повергнув ее таким признанием в окончательное смятение, он отправился на морской вокзал.

Место прощания было выбрано по двум причинам. Клуб дорожников почти утратил свою притягательность после изгнания Абульфаса, кроме того, на поплавке играл знаменитый скрипач Габор.

Габор был венгерский еврей, которого стихия войны с корнем вырвала из родной почвы и забросила под южное небо. Здесь он женился, свил гнездо и стал городской достопримечательностью, хотя знатоки, вполне возможно, могли б ему предъявить претензии. Эдик Шерешевский лишь морщился и при всяком удобном случае высказывал неодобрение тем, кто слишком рьяно хвалил виртуоза. Он не скрывал пренебрежения филармонического артиста к ресторанному усладителю слуха.

– Это ж безнравственные люди, – говорил он, еще сильнее оттопыривая алые вывернутые губы, – рвачи и шкурники. Ваш Габор – первый.

Нельзя было утверждать, что Эдик клеветает. Габор не был равнодушен к признанию слушателей, особенно когда оно было подкреплено солидной купюрой. И все же Костик был убежден, что он был мастером своего дела. В нем будто слились и перемешались и его библейская музыкальность, и ворожба венгерской песни, и безудержность мадьярских цыган. Это был тучный человек, вечно мучившийся одышкой. Его отечное лицо цвета зеленоватой бронзы, точно тронутое папиной, казалось изваянным искусной рукой, что-то было в нем неживое, особенно когда Габор играл. Крупная круглая голова с редкими темными волосами лежала на вздернутом плече, глаза, похожие на оливки, были прикрыты набрякшими веками.

За столиком Костик и Славин были, естественно, не одни. О том нельзя было и помыслить, тем более в субботний вечер. Сидели два отставных офицера. Один – плечистый, с обветренным красным лицом, с хриплым басом, другой – усатый, с седой шевелюрой, с черной перчаткой на левой кисти. Плечистый шумно вспоминал Демянский плацдарм и майскую операцию в сорок втором. Иной раз, увлекшись, он заносил вилку над круглой остриженной голо-

вой, с мясистых губ срывалось крепкое слово. Его товарищ согласно вздыхал и то ворошил ладонью волосы, то дергал себя за сивый ус.

Черное парчовое небо накрыло неразличимое море. Звезды зажигались и тухли. Казалось, они уходят под воду, бесшумно испарывая волну. Дощатые мостки, на которых стояли столики, чуть покачивались.

Славин вынул из кармана листок и с шутиливой торжественностью произнес:

– Сынок, да будет тебе известно, что в давние дни я так же, как ты, мучил невинных людей стихами. Я писал их с легкостью, неопровержимо доказывавшей ненужность и вредность этих занятий. Впоследствии, как ты это видишь, я устыдился и образумился. Но нынче, по случаю расставания, я написал тебе стишочек. Не пугайся, всего четыре строки, моя гуманность меня обуздывала.

Он развернул листок и прочел:

– Все то, что мною не дожито, Что не допето, не допито, Тебе – допеть, тебе допить, И безусловно – пережить.

Костик бережно спрятал листок и сказал, стараясь унять волнение:

– Спасибо. Сделаю все, что могу, дабы исполнить этот завет.

Оба пошучивали, оба посмеивались, и оба были не в своей тарелке. Костик уже давно догадался, что Яков грустнее, чем думают люди, уверенные, что человек – это стиль. Общаться с Яковом – одно удовольствие, тут уж не до его печали, ее к тому же не разглядишь. Костику хотелось признаться, что в нынешней перемене жизни всего тяжелее их расставание, но он не решался сказать это вслух. Слишком чувствительно, не по-мужски, да и нельзя, нельзя расслабляться. Не в первый и не в последний раз Костик выбирал умолчание.

– В добрый путь, – Славин поднял фужер.

Немного помедлив, Костик сказал:

– Знать бы, где он добр, где нет. Торопишь будущее, а очень возможно, что лучше всего после дня трудов пить свой кофе у Абульфаса. Но это ж не может длиться вечно.

– Ты прав, сыночек, все преходяще, – задумчиво подтвердил Славин. – И детство, и отрочество, и юность. И даже твоя роскошная младость. И безжалостно изгнанный Абульфас. Единственное утешение в том, что и преходящее – остается.

– Как это? – не понял Костик.

– Подрастешь – узнаешь, – посулил Славин.

– Ладно, – Костик махнул рукой. – Выбор, как говорится, сделан. Конечно, мне улыбнулась удача, а будет ли счастье, не скажет никто.

– Тебе не просто улыбнулась удача, – сказал Славин, – тебе улыбнулась история. А удача выпала эпохальная. И тебе и всему твоему поколению. Какие-то ценки, салажата и на-чи-нают новый период! Вот уж фарт! Проживете отпущенный срок и мирно умрете в своих постелях. А будет ли счастье? Не знаю, сыночек. Все зависит от твоего механизма. Может везти, как сумасшедшему, а радости от того – ни-ка-кой. Не зря говорят – не в коня корм.

– Похоже, что я – тот самый скакун, – озабоченно проговорил Костик. – Боюсь, что вся моя шаловливость – литературного происхождения. Уж это известно: одни живут, а другие все думают, как им жить.

– Воображение – враг здоровья. Особенно когда слишком богато, – заметил Славин философически. – Может быть, ты все же поэт? Твой собрат по перу, старик Державин, острее всего ощущал страх смерти, когда был молод, здоров и крепок. Пирует, веселит собутыльников и вдруг становится темен как ночь.

– Нет, я не Державин, я – другой, – вздохнул Костик, – это бесспорно. Но напридумывать разных разностей я умею. Что есть, то есть.

– Посему ищи на стогнах столицы окружение потрезвей. Пусть оно тебя заземляет. Даже Пушкин в этом нуждался. Кто был у него под рукой? Соболевский.

– Кому – Соболевский, кому – Шерешевский, – сказал Костик.

– Сынок, ты не прав. Ты не постиг нашего Эдика. Ты уверен, что его ограниченность столь безмерна и бесконечна, что имеет промышленное значение, что он – образцовый ахалтекинец с подозрением на инфантильность, и так далее, в том же стиле и духе. Поверхностный, односторонний взгляд. Эдик вам всем еще покажет. В отличие от тебя, несчастный, он – гармоническое существо. Ясно знает, чего он хочет, и всего, чего он хочет, добьется. Кроме того, человек искусства. Вот уж презирал бы он нас, если б узнал, что мы слушаем Габора.

– Теперь это уже все равно, – элегически произнес Костик.

– Твоя правда, – согласился Славин.

Около Габора суетились поклонники его дарования. Они заказывали мелодии, суля ему золотые горы. Аплодисменты звучали все громче. И, заряженный общим волнением, Габор выкладывался вовсю. Внезапно ухарским ловким движением пожилого озорника он мастерски вытянул струну наподобие тетивы и, как бы вонзая в нее стрелу, взмахнул послушным ему смычком.

– Ну, Распутин... – вскричал отставник, вспоминая Демянский плацдарм.

На Распутина Габор был мало похож, но, так или иначе, было ясно, что восторженный слушатель покорен.

Приметив Славина и Костика, скрипач радостно улыбнулся. Он закончил высокой и тонкой нотой, которая, слетев со струны, долго еще висела в воздухе меж черным небом и черной водой. Разгорячившаяся аудитория устроила виртуозу овацию.

– Шоколадное дело, – вздохнул Славин.

– Эдик бы этого не перенес, – сказал Костик, колотя в ладони.

Славин, улыбаясь, кивнул:

– Далеко Эдику до Габора.

Скрипач между тем подошел к приятелям. Он сердечно пожал им руки и опустился на придвинутый стул. Офицеры выразили свое восхищение. Краснолицый, воодушевленный тем, что музыкант присел за их столик, гордо поглядывал по сторонам.

Славин налил в фужер вина, Габор, поколебавшись, пригубил. Он пыхтел, задыхался, утирал пот, привычно жаловался на здоровье. Так приятно играть для чутких людей, настоящих ценителей искусства. Ведь он учился с Токи Хорватом Дьюлой, великим мастером, таких больше нет. Да и сам Габор в юности был хоть куда. Вам трудно поверить, но был футболистом, играл не где-нибудь, а в «Унгарии». Играл и с австрийцами и с испанцами, вся Венгрия знала его имя. Но судьба распорядилась по-своему...

«В самом деле, – подумал Костик, – судьба – отменная мастерица. Умеет все повернуть и вывернуть. Занесла же она за тысячи верст ресторанный бог и чародея, соединила с основательной женщиной и бросила на поплавок, на котором он пробудет до смерти вместе со скрипкой, старой подружкой, свидетельницей иных времен. При этом по праву можно сказать, что судьба была к нему милосердна, если вспомнить, что восемьсот тысяч венгерских евреев сгорели в Освенциме».

– Слушай, – попросил отставник, – я мотив напую, а ты сыграй. Сумеешь? Это моя любимая... Ты послушай, я напую...

Усатый, пряча в карман кисть в черной перчатке, сказал негромко:

– Не выйдет, Петрович. Товарищ устал... Не разберет... Дай ему отдых...

– Выйдет, – упрямылся офицер. – Это, знаешь, такая песня...

– Напойте, – мягко сказал Габор. – Я постараюсь... вдруг получится.

Отставник запел, безнадежно фальшивя, багровея от напряжения:

– Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу...

Хриплый бас его клокотал, точно выталкивая наружу упирающиеся слова и звуки. Габор слушал, отбивая пальцами такт. Потом он вернулся на свое место, мигнул пианисту, взмахнул

смычком. Чудо! Он уловил мелодию. И, аранжируя на ходу, вернул ее с фантазией, с блеском. Отечное толстое лицо стало еще грустней и торжественней.

– Пора, сынок, – произнес Славин.

Простились на остановке трамвая.

– В добрый час, – повторил Яков. – И не думай о неприятных внезапностях. Решение принято – значит, действуй. Свинья не съест, ко дну не пойдешь – побарахтаешься и выплывешь. Не дрейфь. Жизнь принадлежит молодым.

* * *

Последний день был самым мучительным. Костик мысленно торопил отъезд. И впрямь почувствовал облегчение, когда поезд тронулся и перрон поплыл. Мелькнуло белое лицо матери, рядом с поднятою рукой стоял Славин. Он улыбался. Отец еще бежал за вагоном, потом отстал и, будто поняв, что не догонит, остановился со странной гримасою на губах.

Грянул марш. Все тот же, уже знакомый. Сначала подхлестывающий мажор, потом задумчивое колено с его тревожной прощальной грустью. Костик слушал, прижавшись к стеклу, за которым стремительно таял город.

И вдруг с небывалой ясностью понял, что эта музыка, эта дорожная лирика – прощание не с одним отчим домом, она – прощание и с игрой. То, что будет, ничем уже не напомнит того, что было, к чему он привык. Веселое предисловие кончилось. Все теперь начиналось всерьез.

* * *

Следуя классической формуле, двадцать лет спустя, или около этого, он приехал в город своего рождения по заданию журнала, в котором работал.

За это время много воды утекло, не стояла на месте и его жизнь. Было в ней всякое, дурное с хорошим, перемешанное так густо, что нельзя было отделить одно от другого.

Он закончил заочную аспирантуру – проявил и энергию и упорство, – но это было не столько потребностью, сколько поиском аргументов в споре, который ведешь с самим собою до самого последнего дня. Ученым Костик так и не стал, а в журналистике не затерялся. Двадцать лет нелегко были прожиты. Они прошли в изнурительной борьбе с самым неподатливым и сопротивляющимся из всех существующих материалов – с проклятым и благословенным словом. Но отбиваться приходилось не только от литературных стереотипов, услужливо предлагавших себя. Повседневная жизнь в свою очередь предлагала готовую колодку, и требовалось отстоять свое право быть собой в тех случаях, когда твоя личность не отвечала сложившимся представлениям. Костику пришлось убедиться, что свежесть и независимость взгляда не вручаются раз навсегда при рождении, они завоевываются каждый день.

Однако же он оказался устойчив. Выяснилось, что те самые годы, которые он считал предисловием, веселой прелюдией, карнавалом, значили больше, чем он полагал. Мысль, что нас создает наша зрелость, – почтенная, но не бесспорная мысль. Зрелость шлифует и обнаруживает, юность делает решающий вклад.

Выяснилось, что все было важно – южный улей, в котором прошло его детство, и ворвавшийся военный сквозняк, жизнь на улицах, распахнутый мир, и готовность к надежде и даже чувствительность, которой он втайне побаивался. И хотя Костик не слишком верил в весомость своей газетной известности, он, как говорится, составил имя.

Это понятие определялось не только звучностью и популярностью, не только привычной читателю подписью. Имя, с которым выходишь в путь, теперь уже было неким итогом, означало, что ты выдержал искусы и отныне вызываешь доверие.

Все эти годы, доверяясь инстинкту, он откладывал поездку на родину – боялся невеселых открытий.

Но в вечной скачке, в студеной день, нет-нет и возникал тайный помысел – перенестись на старые улицы, почти отвесно летящие к морю, вдохнуть всей грудью полдневный жар, который внезапно обдаст прохладой сырого прибрежного ветерка, – так чувствуешь вдруг кусочек льда на дне стакана с горячим зельем.

И все же, если бы не задание, неизвестно когда бы сбылось задуманное. Неожиданно, без душевных усилий, без раскочки, без внутренней подготовки, он вошел в самолет и через три часа приземлился на новом аэродроме, ни разу не виденном, незнакомом.

Но лишь вышел и подставил лицо густой волне раскаленного воздуха, сразу понял, что наконец он дома.

И потом, когда въехал в пределы города, вплоть до раннего осеннего вечера, вдруг накрывшего знойные тротуары, все дивился, не мог прийти в себя.

«Моя родина, забытая родина, которая с каждым часом все дальше, так далеко, что уже казалось, будто ты на другом краю земли, и уже не понять, у каких берегов урчат керосиновые темные воды, неужели ты вновь меня обняла?»

Мой Юг, мой простодушный Юг, неужели это та же моряна проносится над кривыми кварталами и, как прежде, полна до краев томлением плотная дурманная ночь?

Где ж я был? Почему нас так разметало? Почему я живу на зябком севере среди нахлобученных на уши шапок и вечно поднятых воротников?»

Так он беседовал сам с собою в тот беспокойный первый день, а наутро, как одержимый спирт, принялся вызывать призраки.

* * *

Он и сам не мог бы себе объяснить, отчего он начал с посещения Жеки, как очутился во дворике-садишке, куда приходил в урочный срок.

В доме осталась одна Зинаида, она подсохла и поседела, еще резче обозначились скулы, еще острее стал орлиный клюв. Она долго не узнавала Костика, не понимала, чего он хочет, и смотрела на него с подозрением. Наконец вспомнила, всплеснула руками.

Костик узнал, что дядя скончался через месяц после его отъезда. Когда отметили сорок дней, Жека вышла замуж за своего тренера. Она родила ему трех дочерей, он все убивался, мечтал о сыне. Рискнули еще раз и – удалось. «С четвертой попытки», – шутил супруг. Был так счастлив, что полюбил и девочек. Впрочем, все это было уже давно. В этом году Жека стала бабушкой.

Зинаида хотела дать ему адрес, он, помявшись, сказал, что в ночь уезжает. Нет уж, бог с ней, с семейной идиллией, зато Жека останется той же. Он привык воскрешать последний вечер и дивился тому, с какой отчетливостью видит, как, встав из-за стола, она неспешно идет к кровати, переступая медными пятками, потом отбрасывает одеяло и, стаскивая сарафан через голову, смеясь, произносит:

– Поели, попили – пора и честь знать. Времечко-то бежит между тем...

Знала цену каждой ночной минуте.

Проходя через дворик, он оглянулся на окно, у которого сидел поэт. Помнится, сразу после отъезда Малинич ему отписал в Москву, что стихи бессребреника появились, и, выполняя Костикину просьбу, он отправил автору целых пять экземпляров газеты. Константину было приятно думать, что тот успел увидеть стихи опубликованными на полосе. Вполне возможно, что человек уверился, что жил не напрасно.

* * *

В тот же день он посетил редакцию.

Малинич в газете уже не работал. Выяснилось, что лет восемь назад, во время отпуска, он познакомился с немолодой достойной дамой и переехал к ней в Оренбург. Вряд ли то было вспышкой страсти, скорее всего, он просто устал от многолетнего холостячества – одиночество может измотать человека ничуть не меньше, чем жизнь вдвоем, и тем более жизнь на людях. Помнится, когда Славин впервые поделился этим соображением, Костик отнесся к нему недоверчиво. Теперь он его вполне разделял.

Геворк Богданович ушел на пенсию.

Все эти новости рассказал Духовитов, который почти не изменился. Старообразные люди устойчивы – и это когда-то подметил Славин. Они ветшают медленней прочих, в этом их безусловное преимущество. Костик против воли сравнил своего бывшего шефа с Паяльниковым. Стихотворец в тот день принес балладу, посвященную открытию памятника, и забрел к Духовитову на огонек. Поэт и впрямь приметно сдал.

– Как жизнь? – осведомился Костик.

– Увы, она теперь влачится совсем как старая волчица, – не без живости ответил Паяльников.

Мысленно Костик поморщился. Все то же прилипчивое рифмачество, словно отзвук уже далекой, уже почти забытой игры. Конечно, можно было б ответить каким-нибудь похожим двустушием, но нынче все эти ювенилии были уже не для него – не сочетались с состоянием духа. Для Паяльникова это, впрочем, профессия, не только его повседневный мир. И для экспромта не так уж худо. Сомнительно, правда, что это экспромт, И рифма выделана – он ею горд, – и сравнение его сегодняшней жизни со старой волчицей слишком кокетливо. Жизнь Паяльникова никогда не была молодой волчицей, не стала и старой, она всегда была ручной и домашней.

Заговорили о Леокадии. Судьба сыграла с ней приятную шутку. Эта неистовая моралистка, хранительница семейных твердынь и защитница покинутых жен, расколошматила вдребезги чей-то очаг, увела честного энергетика, к тому же отца троих детей, но пленившего ее статьями и ямочками до полной потери самоконтроля.

Ясное дело, что после этого надо было сменить среду обитания, и публицистка со своим трофеем переехала в дальний северный город. Там, вдали от прежней супруги и заодно от прежних читателей, они вкушают свое грешное счастье.

– Что за женщина, – причитал Паяльников, – интеллект, своеобразие, шарм! Я готов был пойти за ней на край света! Она выдавливала из меня, как из тубика, каждый день по новому стихотворению. Иногда и по два. Вы, Костя, не могли оценить ее. Очень молоды были.

– Скорее всего, – кивнул Константин. – Но вы должны быть ей благодарны. Вы узнали, что такое любовь.

– Это правда, я ей благодарен, – охотно согласился Паяльников. – Как человек и как поэт.

– Подергала она твои нервы, – Духовитов покачал головой.

Из дальнейшей беседы Костик узнал, что, несмотря на минорный тон, дела стихотворца не вовсе плохи – в местном издательстве выйдет книга стихов. Костик сказал, что прочтет непременно, записал название – «Город моей судьбы». Потом он спросил у Духовитова, велик ли поток читательских писем.

– Активность просто невероятная, – озабоченно вздохнул Духовитов, – с прежней никакого сравнения. Потоп. Времена, когда вы работали, это, можно сказать, курорт.

Повидал Костик и Майниченку. У спортивного обозревателя прибавилось в этом году забот – команда города вошла в высшую лигу.

– Ни сна, ни отдыха, – пошутил Костик.

Майниченко отозвался не сразу.

– Спорт – благородное дело, – сказал он.

Эти обычные слова, произнесенные чрезвычайно серьезно, неожиданно поразили Костика. Будто открыли в его собеседнике нечто до сей поры не угаданное.

«А он не прост», – подумал Костик.

Выходя из редакции, он столкнулся с Матвеем Пилецким, седым и важным. Рядом с ним вышагивал хмурый старик, похожий на отощавшего грифа. Им оказался Виктор Арсеньевич. Костик узнал, что Матвей возвысился, осуществилась мечта его жизни, теперь он собственный корреспондент. Видимо, он поладил с Чуйко. Костик сердечно его поздравил. Однако же он не мог не вспомнить, что и Яков был собственным корреспондентом. Разумеется, жизнь не стоит на месте, но зигзаги ее иной раз причудливы.

Пилецкий пригласил его в гости. У них все по-прежнему, все – путем, если не брать в расчет того, что умер бедняга Казимир. Но и то сказать, он пожил немало. Любовь Александровна ничуть не сдала, Инна с Виталиком подарили двух внуков.

Договорились перезвониться, но Костик отчетливо понимал – он сделает все, чтоб избежать визита. Охотней всего бы он повидал Казимира с плещущими ушами, бедного старого ребенка, которому разговор с москвичом, то есть с лицом, «приобщенным к сферам», доставил бы минуту блаженства. Но Казимира уж больше нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.